

РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО
ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ НЕПРЕРЫВНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЫСШЕГО ГУМАНИТАРНОГО
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Серия
«Философское образование»
Выпуск 8

ЗАВЕТЫ ПУШКИНА

Общая редакция
д-ра философских наук В.И.Копалова



Екатеринбург
1999

ББК Ш5(2=Р)5-Пушкин+ЮЗ(2)5+ТЗ(2)5-7

З-134

УДК 882П:929:13

Печатается по решению Межвузовского
центра проблем непрерывного гуманитарного образования

Авторы: **В.И.Копалов** (*введение, 1-я гл.*), **О.В.Зырянов** (*предисловие, 2-я гл.*), **В.И.Колосницын** (*3-я гл.*), **Н.В.Колосницына** (*4-я гл.*).

Отв. за выпуск: **Н.Н.Целищев**, д-р филос. наук, проф., акад. Акад. гуманитар. наук, засл. работник высш. шк. РФ; **В.Д.Толмачев**, ред.-организатор изд-ва.

Рецензенты: **А.П.Ветошкин**, д-р филос. наук, проф.;
Ю.А.Мешков, д-р филолог. наук, проф.

З-134

Заветы Пушкина / В.И.Копалов, О.В.Зырянов, В.И.Колосницын и др.;
Общ. ред. д-ра филос. наук В.И.Копалова; Рос. филос. о-во и др. — Екате-
ринбург: Банк культурной информации, 1999. — 140 с. — (Сер. «Филос.
образование» / Ред. совет: В.В.Ким (предс.) и др.; Вып. 8).

ISBN 5—7851—0098—3

ISBN 5—7851—0183—1 (Вып. 8)

Коллективная монография уральских философов, филологов и культурологов приурочена к 200-летию юбилею А.С.Пушкина. В ней выявляются заветы гениального художника, обращенные к нашей современности, прослеживается их влияние на русское национальное самосознание, на русскую культуру в целом. Монография содержит анализ историософских взглядов Пушкина, его размышлений об исторической миссии России и русского народа; рассматривает духовно-религиозные аспекты жизненного и творческого пути поэта; дает характеристику Пушкина как личности и вдохновенного художника; раскрывает пушкинскую трактовку темы свободы творчества в русской литературе.

Книга адресована преподавателям социально-гуманитарных дисциплин высших и средних учебных заведений, аспирантам, студентам, всем, кому дорого творческое наследие Пушкина, его светлая поэзия.

УДК 882П:929:13

ББК Ш5(2=Р)5-Пушкин+ЮЗ(2)5+ТЗ(2)5-7

Для оформления обложки книги использована
репродукция гравюры «А.С.Пушкин» Т.Райта. 1837 г.

© В.И.Копалов, О.В.Зырянов, В.И.Колосницын,
Н.В.Колосницына, 1999

© Банк культурной информации, оформление,
серия, 1999

ISBN 5—7851—0098—3

ISBN 5—7851—0183—1 (Вып. 8)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, предлагаемая вниманию читателя, приурочена к 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Она представляет собой коллективную монографию, которая выросла из докладов, прочитанных ее авторами на межвузовском научном семинаре «Русская идея» при Уральском государственном университете им. А.М.Горького. Данная книга — первая в серии «Философское образование», которая открывает новое направление исследований — «Литература и духовность».

В данной монографии предпринята попытка рассмотреть творчество великого русского национального гения с разных точек зрения, точнее — глазами философа, филолога и культуролога. Главная ее задача — дать комплексную оценку творческого наследия Пушкина, его заветов, обращенных к нашей современности. Ключевая идея, объединяющая все разделы данной монографии, — влияние Пушкина на русское национальное самосознание и русскую культуру в целом. Так, в главе «Россия и русский народ в творчестве Пушкина» (автор В.И.Копалов) содержится анализ историософских взглядов художника, его размышлений об исторической миссии России и русского народа, о роли Православия в формировании русской культуры. В главе «“Духовной жаждой томим”»: Биография пушкинского духа» (автор О.В.Зырянов) рассматриваются духовно-религиозные аспекты жизненного и творческого пути поэта. Яркая характеристика Пушкина как личности и вдохновенного художника дается в главе «Союз волшебных звуков, чувств и дум» (автор В.И.Колосницын). Наконец, пушкинская трактовка темы свободы творчества и ее значение для всей русской литературы прослеживаются в главе «Поэзия и свобода: традиция Пушкина в русской поэзии» (автор Н.В.Колосницына).

В монографии наряду с использованием исследований о Пушкине советского и постсоветского периодов широко привлекаются тексты русских писателей и мыслителей XIX — начала XX веков, философов первой волны русской эмиграции, которые в силу идеологических причин долгое время не были доступны российскому читателю. Книга также включает подборку философских стихотворений Пушкина и словарь основных терминов и понятий, употребленных в данном издании.

Монография адресована самой широкой аудитории — преподавателям социально-гуманитарных дисциплин высших и средних учебных заведений, аспирантам, студентам, всем, кому дорого творческое наследие Пушкина, его бессмертная поэзия.

ДВА ВЕКА С ПУШКИНЫМ

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Каждый из нас, каждый, кто воспитан и укоренен в русской культуре, еще не умея читать и писать, уже знал наизусть несколько строф из Пушкина: «У лукоморья дуб зеленый...», «Мороз и солнце; день чудесный...», «Как ныне собирается вещий Олег...» По мере духовного созревания наша память вбирает в себя крылатые изречения из «Евгения Онегина», исторические образы «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки», религиозные интуиции стихотворения «Пророк».

1999 год является годом 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина. Пушкинские юбилеи всегда исключительно интенсивно влияли на развитие русского национального самосознания: публикация Полного собрания сочинений поэта, углубление текстологического и литературоведческого анализа, приобщение к Пушкину читателей нового поколения. И этот перечень можно продолжать бесконечно.

Сегодня как никогда необходимо приобщение русского человека к творчеству Пушкина. В постсоветской России последнего десятилетия происходят деструктивные процессы, которые ведут к размыванию русского национального самосознания. Размах русофобии, национального нигилизма, денационализация образования, стандартизация человека на основе массовой американской культуры, засорение русского языка англицизмами, канцелярщиной, ненормативной лексикой оказывают негативное влияние на русскую культуру.

Обращение к своим национальным истокам, среди которых целительный родник пушкинской поэзии наиболее благодотворен и всем доступен, стимулирует приобщение каждого гражданина России, и прежде всего каждого русского, к своим народным святыням. Именно в этом, на наш взгляд, состоит смысл и цель предстоящего пушкинского юбилея. Согласно философу И.А.Ильину, день рождения Пушкина является для каждого русского «днем присяги на духовную верность Родине».

А теперь предоставим слово писателям, философам, литературоведам, давшим оценку роли Пушкина в русской культуре.

* * *

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, мо-

жет быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Н.В.Гоголь

Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.

Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Ф.И.Тютчев

А Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего *душевного, особенного*, такого, что остается нашим *душевным, особенным* после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, — все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, — образ, который мы долго еще будем оттенять красками.

А.А.Григорьев

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. <...> Жил бы Пушкин долее, так между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Ф.М.Достоевский

Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе всех. Поэт ведет за собой публику в незнакомую страну изящного, в какой-то рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства.

А.Н.Островский

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук.

А.А.Блок

Думается, что в нашу эпоху упадка духовной жизни, гонения на нее и ее кажущейся гибели нет более благодарной и действительно нужной задачи, как заняться пристальным и непредвзятым изучением самого богатого и адекватного выражения русской духовности и ее вечной правды в духовном мире Пушкина.

С.Л.Франк

Единственный по глубине, ширине, силе и царственной свободе духа, он дан был нам для того, чтобы создать *солнечный центр нашей истории*, чтобы сосредоточить в себе все богатство русского духа и найти для него неумирающие слова. Он дан был нам как залог, как обетование, как благодатное удостоверение того, что и на наш простор, и на нашу страсть может быть найдена и создана совершающая и завершенная форма. Его дух, как великий водоем, собрал в себя все подпочвенные воды русской истории, все живые струи русского духа. И к целебным водам этой вдохновенно возмущенной купели будут собираться русские люди, пока будет звучать на земле русский язык, чтобы упиться этой гармонией бытия и исцелиться от смуты, от застоя и брожения страстей.

И.А.Ильин

Среди великих русских творцов, мыслителей и поэтов нет, думается, никого, в ком так крепко было бы единство немудрствующей, ничего не проповедывающей веры и божественного света, солнечного разума. Этим единством Пушкин своеобразно связывается и с духовным строем Древней Греции, и с трезвенностью русской религиозности.

Ф.А.Степун

Чудо состоит в том, что русская культура, русская литература в XX в. не выродилась окончательно и во многом подтвердила свой всемирный нравственный авторитет, оставаясь в лучших своих явлениях человечнейшей культурой мира, продолжая в меру сил наследовать ту совестную, духовную традицию, преемником которой два века назад стал Пушкин. Соответственно и он, невзирая ни на что, в том числе на нынешние обстоятельства и моды, на все наше непонимание, продолжает — в силу своего призвания ... — еще оставаться нашим *центром*.

В.С.Непомнящий

Глава I

РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Пушкин. Полтава.

«МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ» РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

Отсчет пушкинских юбилеев и памятных дат начинается с открытия памятника Пушкину в Москве на Страстной площади (июнь 1880 года) и связанных с ним торжественных заседаний, которые проходили в Московском университете и других местах. Еще в 1862 году, в 25-ю годовщину со дня гибели поэта, было принято решение о создании памятника. По итогам конкурса был принят проект скульптора А.М.Опекушина. В ходе торжественных заседаний москвичи слышали выступления русских писателей и поэтов — И.С.Тургенева, А.Н.Островского, А.А.Фета, Ф.М.Достоевского, выдающегося русского историка В.О.Ключевского. Особенно сильное впечатление имела речь Достоевского, в которой он оценил вклад Пушкина в русскую и мировую культуру, охарактеризовал творчество Пушкина как явление «чрезвычайное и пророческое».

Устами своих крупнейших писателей и историков благодарная Россия воздала должное выдающемуся сыну, гению и поэту. Эти празднества имели всероссийский масштаб и укрепляли взгляд на творчество Пушкина как на общенациональное достояние. Начиная с открытия памятника Пушкину все последующие юбилеи имеют значение не только в том, что они обостряют интерес к Пушкину, дают новый импульс к изучению его жизни и творчества, но и в том, что они способствуют созданию своего рода «зон согласия» вокруг его имени, благоприятствуют хотя бы на некоторое время сближению крайних мнений и противоположных взглядов¹.

В 1899 году Россия отмечала 100-летний юбилей Пушкина. Годом ранее, 28 октября 1898 года, в Санкт-Петербурге в Императорской Акаде-

мии наук была учреждена «Комиссия по устройству чествования столетия со дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина», под председательством ее президента Константина Романова. К юбилею был приурочен выход первого тома академического издания Сочинений Пушкина под редакцией академика Л.Н.Майкова. Накануне юбилея и в ходе юбилейных мероприятий были опубликованы многие статьи и доклады, посвященные творчеству Пушкина. В числе авторов мы видим имена В.С.Соловьева, Д.С.Мережковского, В.В.Розанова, Л.И.Шестова, В.О.Ключевского, А.Н.Веселовского и многих других русских писателей, ученых, философов. В ряду публикаций этого периода особо следует назвать речь митр. Антония (Храповицкого) «Пушкин как православный христианин и патриот», которую он произнес в Казанском университете. К этому времени относится публикация прот. Иоанна (Восторгова) «Вечное в творчестве поэта». Многие из этих публикаций за давностью лет стали библиографической редкостью.

Однако юбилейные публикации нередко содержали весьма различные оценки творчества Пушкина. Именно тогда были заложены основы дискуссии, которая продолжается до наших дней. С особенным жаром подвергалась критике статья знаменитого философа Вл.Соловьева «Судьба Пушкина», в которой автор стремился раскрыть творчество Пушкина в свете его трагической кончины. Так, журнал «Мир искусства», редактором-издателем которого был С.П.Дягилев, посвятил юбилею специальный пушкинский номер (1899 год, № 13—14), который вызвал резкое неприятие не только одного Вл.Соловьева.

День памяти Пушкина — 100-летие со дня трагической гибели поэта — широко отмечался и в Советском Союзе, и за рубежом (русское зарубежье). В СССР был учрежден Всесоюзный Пушкинский комитет под председательством М.Горького. 14 февраля 1937 года в Академии наук СССР была проведена Пушкинская сессия, которую открыл президент — академик В.Л.Комаров. Вслед за ним выступили крупные советские ученые, среди которых следует назвать В.Кирпотина, В.Жирмунского, М.Нечкину, М.Алексеева, А.Орлова, К.Федина. Год спустя был издан сборник докладов «Сто лет со дня смерти Пушкина».

Общая тональность докладов соответствовала духу времени. За два месяца до юбилейной сессии была принята сталинская конституция, поэтому во многих докладах звучали здравицы Сталину и партии. Творчество Пушкина рассматривалось исключительно через призму оценок Белинского, Чернышевского и Писарева (из остальных мыслителей упоминается только М.О.Гершензон, да и то в связи с его скандальной статьей «Плагаты Пушкина»). В целом Пушкин был представлен как декабрист,

революционер, атеист (доклад М.В.Нечкиной «Пушкин и декабристы»). Гибель Пушкина расценивалась исключительно как проявление злой воли царизма. К.Федин отметил в своем докладе, что «гибель Пушкина — один из самых потрясающих обвинительных актов, предъявляемых историей царизму». Параллельно шло шельмование Достоевского в связи с его речью о Пушкине. Так, П.И.Лебедев-Полянский утверждал, что реакционный смысл речи Достоевского является выражением взглядов мракобеса Победоносцева. Лексика автора говорит сама за себя. Последующие этапы развития советского пушкиноведения во многом шли в русле оценок, высказанных в этих докладах.

Однако в ряде докладов содержался очень интересный материал о роли творчества Пушкина в мировом культурном процессе, о переводах Пушкина практически на все европейские языки еще при его жизни, начиная с 1823 года. Весьма показательной является приведенная в одном из докладов ссылка на немецкого литературного критика начала XX в. И.Гюнтера: «Новейшее время знает, что Александр Сергеевич Пушкин принадлежит к числу тех бессмертных, первым представителем которых был Гомер и которые насчитывали в Европе еще лишь имена Данте, Шекспира, Кальдерона и Гёте. К этим бессмертным примыкает шестым Пушкин».

Самым большим достижением Пушкинской сессии АН СССР 1937 г. был возврат Пушкина, его своеобразное «восстановление в правах». За два десятилетия, прошедшие после 1917 года, исследования в области творчества Пушкина были исключительно редки. Вместе с памятной датой в 1937 году был сделан поворот не только к творчеству Пушкина, но и к русской культуре в целом. Весьма своеобразно оценил перемену ситуации Г. П.Федотов, который, будучи в эмиграции, с удивлением констатировал: «В России читают Пушкина». В своей статье «Пушкин и освобождение России» он писал: «Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина. Читают не в порядке юбилейного заказа, наспех, напоказ, для проработки на собраниях. Мы знаем, что читают уже давно, много лет, — читают как никогда раньше не читали. Пушкин стал любимым народным поэтом... Здесь, в этой точке, каким-то непостижимым образом сошлись вкусы диктатора и народа»².

После юбилейной Пушкинской сессии началось издание Полного собрания сочинений Пушкина, которое продолжалось до 1949 года. Всего вышло 16 томов, а справочный, 17-й том вышел уже в 1959 году.

100-летие памяти Пушкина широко и торжественно было отмечено в русском зарубежье. Всего было создано 166 пушкинских комитетов. По-

эта чествовали в 24 государствах и 170 городах Европы, а в мире в целом — в 42 государствах и 231 городе³. Русское зарубежье явило миру настоящее общерусское торжество. Центральный Пушкинский комитет был создан в Париже. В его состав входили: председатель — В.Маклаков, члены комитета — И.Бунин, К.Бальмонт, А.Куприн, С.Зайцев, М.Цветаева, С.Франк и другие писатели, ученые и философы. Аналогичные комитеты были созданы в Берлине, Праге, Нью-Йорке, Харбине, Шанхае и многих других городах мира. За два года до начала второй мировой войны в русском зарубежье было издано около 100 книг, посвященных творчеству Пушкина.

Среди статей и докладов, опубликованных в русском зарубежье в 1937 году, в 100-ю годовщину со дня смерти Пушкина, в первую очередь надо отметить следующие: С.Н.Булгаков «Жребий Пушкина», И.А.Ильин «Пророческое призвание Пушкина», С.Л.Франк «Пушкин как политический мыслитель», Г.П.Федотов «Певец Империи и свободы», П.Б.Струве «Дух и слово Пушкина». Этот список можно бесконечно продолжать. Естественно, эти статьи никогда не публиковались в Советском Союзе. Лишь в 1990 году вышел в свет сборник статей, подготовленный Р.Гальцевой, «Пушкин в русской философской критике». Однако многие статьи, не вошедшие в этот сборник, рассеяны по различным периодическим изданиям и собраниям сочинений различных авторов. Поэтому необходимо осуществить публикацию нового сборника статей представителей первой волны русской эмиграции, которые по идеологическим мотивам были более полувека недоступны отечественному читателю и исследователю.

Именно эта генерация русских мыслителей, будучи оторванной от Родины, от родной культурной стихии, но тем не менее имеющая ревностное отношение к русской культуре, обостренное вынужденной эмиграцией, смогла ясно выразить свое отношение к творчеству Пушкина как к абсолютному центру русского национального самосознания. С исчерывающей полнотой эту идею выразил И.А.Ильин: «Движимые глубокой потребностью духа, чувствами благодарности, верности и славы, собираются ныне русские люди — люди русского сердца и русского языка, где бы они не обретались, — в эти дни вековой смертной годовщины их великого поэта у его духовного алтаря, чтобы высказать самим себе и перед всем человечеством *его* словами и в *его* образах *свой национальный символ веры*. И прежде всего — чтобы возблагодарить Господа, даровавшего им этого поэта и мудреца, за милость, за радость, за непреходящее светлое откровение о русском духовном естестве и за великое обетование русского будущего»⁴.

С глубокой проницательностью И.А.Ильин показал, что Пушкин был живым средоточием русского духа и в историческом, и в метафизическом смысле. Русский макрокосм нашел в лице Пушкина целостный и гениальный микрокосм, которому надлежало включить в себя все величие, все силы и богатства русской души, ее дары и таланты и в то же время, — все ее соблазны и опасности, всю необузданность ее темперамента, все исторически возникшие недостатки и заблуждения; и все это — пережить, перекалить, переплавить в огне гениального вдохновения: из душевного хаоса создать душевный космос и показать русскому человеку, к чему он призван, что он может, что в нем заложено, чего он бессознательно ищет, какие глубины дремлют в нем, какие высоты зовут его. Пушкин «дан был нам для того, чтобы создать *солнечный центр нашей истории...* Его дух, как великий водоем, собрал в себя все подпочвенные воды русской истории, все живые струи русского духа. И к целебным водам этой вдохновенно возмущенной купели будут собираться русские люди, пока будет звучать на земле русский язык, чтобы упиться этой гармонией бытия и исцелиться от смуты, от застоя и брожения страстей»⁵.

«Магический кристалл» пушкинской поэзии сфокусировал все ключевые темы русского национального самосознания: русская история и русская культура, Родина и патриотизм. Православие и государство, любовь и совесть, семья и национальное воспитание. Чувство патриотизма, укорененности в культуре, составляющие национальное бытие каждого народа, выражающие органическую связь с историческим прошлым, имеют, согласно Пушкину, не только психологическое, но и религиозное основание:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

Сегодня, когда мы видим уничижение русского национального самосознания, целенаправленно проводимое средствами массовой информа-

ции, исключительно актуально звучат пушкинские слова: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». В дни пушкинского юбилея надежда на духовное оздоровление нашего общества, на обновление России, на возрождение русского национального самосознания является для нас спасительным якорем, и мы вместе с А.Блоком восклицаем:

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

«ТАМ РУССКИЙ ДУХ... ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!»

Тема Родины является сквозной в творческом наследии великого русского поэта. В любом из жанров — поэтическом, прозаическом, историческом, драматическом, публицистическом, сказочном — непременно за напряженным сюжетом повествования стоит русская природа, история России, ее православно-духовное начало. Подобная постановка проблемы, редко встречающаяся в современном пушкиноведении, вполне обоснованна и требует пристального внимания. Тема России и русского народа, его характерных черт, раскрыта Пушкиным в природно-климатическом, историко-политическом и христианско-православном универсуме.

Природа России — лоно, колыбель русского народа. Она сформировала характер, темперамент, чувство ритма, терпение и стойкость, укрепляла дух народа. Сопоставление климатических условий России с любой из европейских стран практически невозможно. Бесконечность пространства, полугодовая снежная и морозная зима, бурная весна, знойное засушливое лето, хмурая слякотная осень придают особый, специфический характер народу — безмерность его души. В статье «О народности в литературе» Пушкин замечает, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии»⁶. Отсюда идут глубочайшие поэтические прозрения Пушкина, в которых отражено соответствие природы России и души русского человека.

Пушкинская поэзия содержит различные образы времен года. «Мороз и солнце; день чудесный!» Одна лишь строка передает радость души поэта, радость, сменяющую грусть и печаль, которые накануне были навеяны злой вьюгой и мглой, носящейся в мутном небе. «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Бесы» выражают гамму самых разных оттенков настроения

поэта, который преломляет и поэтически оформляет тончайшие нюансы настроения каждого русского, его восприятие родной природы. Зима учит долготерпению, стойкости, осмотрительности; учит все запасать впрок. Европейец, по сравнению с русским, имеет представление о зиме, которая больше схожа с нашей осенью.

Пушкину свойственны поразительно глубокие аналогии о взаимной связи природы и неотъемлемых свойств национального характера. Это настроение мы встречаем в «Евгении Онегине»:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарю поздней
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров (5, 87).

Но, пожалуй, личное уmonoстроение поэта, своё Я, преломленное сквозь призму русской зимы, наиболее полно выражено в следующей строке: «Здоровью моему полезен русский холод». Цельная натура поэта принимает суровый климат Родины как Божий дар, как испытание, ниспосланное судьбой, как связующую нить Природы и обитающего в ней Человека. Столь же превосходны оценки женской красоты, которые мы находим в стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?...»:

Но бури севера не вредны русской розе,
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов! (3, 34)

Не менее пленительны пушкинские созерцания весны:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года... (5, 121)

Не только человек является продолжением природы, но и природа приобретает под пером поэта человеческие свойства, персонифицируется. После зимнего сна она дарует нам «ясную улыбку». Такого бурного поло-

водья не знает ни один европеец. Резкая смена ритмов природы, интенсивные перепады непосредственно влияют и на душу народа, которая, по выражению И. Ильина, становится глубокой и буреломной, разливной и бездонной. Весна соблазняет, весна обещает, пробуждает любовь, дарит надежду и призывает к активности:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! Пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!.. (5, 121)

Знойное, засушливое лето традиционно является для русского человека периодом максимального напряжения сил. За столь краткое время, которое вдвое короче летнего времени почти любой европейской страны, русский должен обеспечить себя на весь год. Труд от зари до зари — удел русского народа в самый напряженный период года. Однако пушкинские оценки летнего времени часто удивляют своей неожиданностью:

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет... (3, 247)

Самые пленительные строки посвящены поэтом осени, которую он считал наиболее продуктивным временем для творчества. Достаточно вспомнить период «болдинской осени». В оценке осени мы встречаемся с интонациями неподдельной грусти и эстетического наслаждения:

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружающих гор (2, 244).

Насколько разнородными могут быть впечатления, навеянные осенью. В одном месте Пушкин восклицает:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса... (3, 247)

В то же время поэт подчеркивает особенную прелесть осени, ее благотворное влияние на творчество, на вдохновение, на озарение:

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихой, блистающей смиренно.

<...>

В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной (3, 247).

Картины русской природы нашли отражение в «Капитанской дочке» и других сочинениях Пушкина. Но поэт живописует не только природу средней полосы России. У него немало этюдных зарисовок других, более благоприятных в климатическом отношении регионов Российской империи — Бессарабии в «Цыганах», Тавриды в «Бахчисарайском фонтане», Кавказа в «Кавказском пленнике», Украины в «Полтаве». В каждом случае, пережитом и глубоко прочувственном Пушкиным, читатель словно сам воспринимает благодатный климат юга:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет (3, 198).

Поэзия Пушкина объемлет весь природный и пространственный макрокосмос России, готовый вместе со всем народом к труду, к защите Родины:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая
Не встанет русская земля?.. (3, 210)

Мотив бесконечного, безбрежного, необъятного, но дорогого каждому российского пространства воспет Пушкиным в «Зимней дороге» и в других сочинениях, ставших поэтическими зарисовками его многочисленных путешествий. Немного позднее Н.В.Гоголь скажет, что для того, чтобы почувствовать Россию, надо по ней проездиться. Связь со своей природой, постижение себя в ней и через нее, выражает не только и не столько случайные умоностроения поэта, а является глубинным осмыслением духовной атмосферы, русского национального самородного характера, который Пушкин смог оформить, материализовать в своем творчестве, довести до сознания каждого русского человека. Поэту все открыто и все доступно, он, словно эхо, улавливает и художественно отражает самые различные нюансы души народа:

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт! (З, 214)

По словам И.Ильина, русский, где бы он ни жил, всегда тоскует по своей суровой и могучей Родине. Русский человек связан со своей природой *на жизнь и на смерть* — и в половодье, и в засухе, и в грозе, и в степи, и в лесу, и в солончаке, и в горном ущелье, и в полноводных, стремнинных реках своих, и в осеннем проливе, и в снежном заносе, и в лютом морозе. Именно в этом он видел истоки русской поэзии: «Но для нас здесь достаточно установить, что русская поэзия искони срослась, срастворилась с русской природой; что русская поэзия научилась у своей природы — созерцательности, утонченности, искренности, страстности, ритму; что она научилась видеть в ней хаос и космос, живое присутствие и живую силу Божества; что чрез это русская поэзия стала сама, как и русская душа, подобием и отображением русской природы»⁷.

Все это в полной мере относится к творчеству Пушкина, о котором мы можем сказать его собственными словами: «Там русский дух... там Русью пахнет!».

«ДА ВЕДАЮТ ПОТОМКИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЗЕМЛИ РОДНОЙ МИНУВШУЮ СУДЬБУ»

Россия и русский народ занимают особое место в историческом контексте творчества Пушкина. Мощный пульс русской истории бьется в ге-

роическом эпосе древнерусского периода («Руслан и Людмила», «Песнь о вешем Олеге»), в трагическом периоде великой Смуты («Борис Годунов»), в масштабных преобразованиях Петра I («Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра Великого», подготовительные тексты к «Истории Петра»), в сочинениях, посвященных пугачевщине («История Пугачева», «Капитанская дочка»), в многочисленных стихотворениях, адресованных полководцам и героям Отечественной войны 1812 года. Но разве можно все перечислить и каталогизировать. Что-то непременно останется «за кадром». Но даже то, что указано выше, дает нам право утверждать, что в творчестве Пушкина мы имеем дело с обширным историческим контекстом, более того, с глубоко проработанной русской философией истории, в которой автор напряженно размышлял об истории, судьбе и предназначении России в мире, об исторической миссии русского народа.

Историческое мироощущение Пушкина было сформировано под влиянием «Истории государства Российского», с автором которой — Н.М. Карамзиным — поэт был лично знаком. По словам Пушкина, история отечества, дотоле неизвестная для русского читателя, казалось, была найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Исключительно высокие оценки труда Карамзина даны Пушкиным в критической статье, посвященной «Истории русского народа» Н.Полевого: «Карамзин есть наш первый историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там недоставало ему источников; он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи» (7, 94).

В записке «О народном воспитании», составленной по рекомендации Николая I, Пушкин однозначно утверждает, что русскую историю следует преподавать по Карамзину: «“История государства Российского” есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека» (7, 45). Пушкин полагает, что изучение России по Карамзину должно будет занять умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верой и правдой, а следовательно, это устранил настроения тайного недоброжелательства по отношению к государству и правительству. Патриотическая направленность «Истории» Карамзина не вызывает сомнений. Излагая свои принципы написания истории, он сам непосредственно говорит об этом. «Мой способ писать возник из того представления, которое »

имею о приемах историка. Из всех литературных произведений народа изложение истории его судьбы более всего должно вызывать его интерес и менее всего может иметь общий, не строго национальный характер. Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять в своем изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив; но может, даже должен, все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем прежде всего может быть историк»⁸.

Влияние Карамзина наиболее полно проявилось в «Борисе Годунове». Замысел трагедии возник у Пушкина после прочтения X и XI томов «Истории государства Российского», вышедших в марте 1824 года и содержащих историю царствования Бориса Годунова и Димитрия Самозванца. Следует предположить, что Пушкин обнаружил параллели между Смутным временем начала XVII века и деструктивными процессами в государстве и обществе, свойственными его эпохе. Посвящая свою историческую драму памяти Карамзина, поэт тем самым воздавал должное великому русскому историку и писателю, который сумел своим творчеством благотворно повлиять на плеяду русских писателей и мыслителей.

В своем первом масштабном драматическом произведении Пушкин воплотил ряд принципиально новых идей, которые прежде почти не встречались в его творчестве. Летописание как данный Богу обет, принцип царского служения, роль Православия в развитии русской культуры и государственности, феномен Смуты и самозванства, легковёрность народа, его склонность к соблазнам, принципы народности и историзма, — вот комплекс идей, которые, к сожалению, почти не исследовались в пушкиноведении советского периода в силу идеологических причин. Более того, «Борису Годунову» не уделялось достаточного внимания и в дореволюционном литературоведении. Можно сказать, что это произведение еще ждет своего исследователя. Тем не менее, попробуем дать анализ выше обозначенных идей.

Проникновенный образ летописца Пимена, созданный Пушкиным в «Борисе Годунове», имеет прямое отношение к самому автору и его творчеству. Пушкин писал, что характер летописца Пимена знаком для русского сердца; трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту его стихов. «Характер Пимена не есть мое изобретение. В

нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простые, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших...» (7, 53).

Пушкин словами своего героя характеризует летописание как данный Богу обет, благодаря чему подвижническая деятельность летописца доносит великие деяния наших предков до нас сквозь толщу истории:

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют (5, 199).

Несколько позднее Пушкин фиксирует внимание на том, что православная монастырская культура положила начало русской историографии и русскому национальному самосознанию. «Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно и просвещением».

Принцип царского служения, принцип самодержавия, являющийся, согласно Пушкину, исторически обусловленной формой российской государственности — вторая ключевая идея «Бориса Годунова». Державный труд, тягость царского служения не просто воспроизведены Пушкиным на основе «Истории» Карамзина. Эта идея нашла творческое преломление, на наш взгляд, во многом под влиянием событий, связанных с подготовкой и выступлением декабристов, которое несло угрозу разрушения исторической России. Как бы ни относился Пушкин к исторической фигуре Бориса Годунова, тем не менее в своей драме он вкладывает в его уста ясное, непреложное понимание ответственности царя перед Богом за свою страну и за свой народ:

Ты, отче патриарх, вы все бояре,
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть,
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущим Иоаннам —
Наследую и ангелу-царю!..
О праведник! О мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты (5, 197).

В своих наставлениях сыну Феодору Борис излагает основные принципы царского служения:

Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав...

<...>

Со строгостью храни устав церковный;
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вешать
Велику скорбь или великий праздник (5, 271—272).

В свете подобных созерцаний поэта становится более понятным известный всем пушкинский афоризм: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!».

Феномен Смуты и самозванства впервые был проанализирован и художественно выражен Пушкиным в «Борисе Годунове». Позднее в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» он вновь обращается к этой теме. Смута — явление неоднократно встречавшееся в русской истории, а наш XX век — его конец и начало — проходит под знаком смуты. Поэтому обращение к творчеству Пушкина имеет для нас характер не только сугубо исторический, но и прогностический. В начале своей исторической драмы Пушкин фиксирует возможность соблазна, смущения народа, когда князь Шуйский предлагает свой план князю Воротынскому:

Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова,
Своих князей у них довольно, пусть
Себе в цари любого выберут.

Склонность к соблазнам, легковёрность — одна из характерных черт русского народа. Именно это свойство национального характера использовал самозванец — Григорий Отрепьев, выдавший себя за чудом избежавшего смерти царевича Димитрия. Его авантюрный и трагичный для русского народа план смог воплотиться в жизнь лишь при поддержке польского короля и Римского Папы, которые стремились подчинить Русь власти Польши и насадить в ней католицизм. Эта позиция выражена словами Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

<...>

... Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно... (5, 245—246)

В этой тираде Самозванца заключена вся идеология прошлых и современных смут, выпавших на долю русского народа. Именно он стал жертвой Смуты, а не только царь Борис. Склонность к соблазну приводит народ к утрате иммунных сил державности, делает его игрушкой в руках политических авантюристов и самозванцев всех мастей, превращает его в чернь, в толпу, руководимую стадным сознанием. Пушкин сам был современником столь же трагических событий, и их оценка так или иначе повлияла на сюжет его исторической драмы:

Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана.
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага.
Так если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя (5, 228).

Один из сподвижников Самозванца четко формулирует эту позицию:

Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала? (5, 275)

Оказывается, можно почти без единого выстрела развалить великое государство, хотя Самозванец заранее знает, во что обойдутся русскому народу такие «эксперименты» — «кровь русская рекою потечет». Иную позицию, которая является основой державности, подчеркивает в своей драме Пушкин: «Лишь строгостью мы можем неусыпной сдержать народ». Явление Смуты начала XVII века долгое время ощущалось в историческом бытии русского народа и в его самосознании. По оценке русского философа и богослова Г.В.Флоровского, Смута была не только политическим кризисом и социальной катастрофой. «Это было еще и душевное потрясение, или нравственный перелом. В Смуте перерождается самая народная психея. Из Смуты народ выходит изменившимся, встревоженным и очень взволнованным, по-новому впечатлительным, очень недоверчивым от неуверенности. И эта душевная неуверенность или неустойчивость народа была много опаснее всех тех социальных и экономических трудностей»⁹.

Несомненно, что работа Пушкина над его главным драматическим произведением заставила его во многом иначе взглянуть на значение православного христианства в развитии отечественной культуры. Именно с этого времени в мирозерцании поэта происходит глубокое духовное преображение, которое позднее в «Пророке» нашло чеканную, законченную форму. Рассказ патриарха о слепом старце, который смог исцелиться, прикоснувшись к святым мощам царевича Димитрия, на наш взгляд, относится и к самому автору:

... Проснулся я и думал:
Что ж? может быть, и в самом деле Бог
Мне позднее дарует исцеленье.
Пойду — и в путь отправился далекий.
Вот Углича достиг я, прихожу
В святой собор, и слушаю обедню,
И, разгорая душой усердной, плачу
Так сладостно, как будто слепота
Из глаз моих слезами вытекала.

<...>

...и только перед гробом

Я тихую молитву сотворил,

Глаза мои прозрели; я увидел

И Божий свет, и внука, и могилку (5, 252).

В этом отрывке все символично, все свидетельствует о глубоком преображении духовного состояния автора — «проснулся я», жажда исцеления, паломничество — «в путь отправился далекий», «молитву сотворил, глаза мои прозрели», ясно различил прошлое, настоящее, будущее — могилку, Божий свет, внука. Работа над «Борисом Годуновым» произвела глубокий переворот и в пушкинском восприятии отечественной истории, роли самодержавия и православного христианства. С этого времени Пушкин предстает как поэт-государственник, монархист, как православный мыслитель. Духовное преображение повлияло и на творчество Пушкина в целом. В письме к Н.Н.Раевскому (1825 год) он пишет: «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену — такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (10, 610).

«...И БОГА БРАНЕЙ БЛАГОДАТЬЮ НАШ КАЖДЫЙ ШАГ ЗАПЕЧАТЛЕН»

Глубокое изучение русской истории привело Пушкина к необходимости изложить свое понимание особого, отличного от большинства европейских стран, развития России и русского народа. Задолго до интенсивного диалога между западниками и славянофилами Пушкин сумел сформулировать основные позиции, выражающие специфические особенности русской истории и русской культуры. Это направление пушкинского творчества в основном связано с последним периодом его жизни и большей частью нашло отражение в публицистике. Размышления Пушкина о судьбе и предназначении России, ее особом пути развития, об исторической миссии русского народа дают нам основание говорить о комплексе идей, которые содержат историософские воззрения, русскую философию истории. Помимо названных выше ключевых идей, историософские взгляды Пушкина включают оценку взаимоотношений Запада и Востока, роли славянства и его культуры, исторической роли Петра Великого и его преобразований, дискуссию с Чаадаевым относительно прошлого Рос-

сии и перспектив ее развития. Однако историософские суждения Пушкина не сведены в какую-либо концепцию; надо полагать, что он и не ставил такой задачи. Тем не менее, глубина его суждений совершенно поразительна, и это обстоятельство ставит перед нами задачу — осуществить реконструкцию историософских воззрений Пушкина, свести их воедино.

Особый, специфический путь России Пушкин связывает с ее географическим положением между Европой и Азией, климатом, православной верой и полиэтничностью. «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, возведенные Гизотом из истории христианского Запада. Не говорите: *иначе нельзя было быть*» (7, 100). В статье «О ничтожестве литературы русской» (1834) он выявляет причины отставания литературного процесса в России от европейских стран, прежде всего от Франции. Добросовестный исследователь истины, по мнению Пушкина, должен обратиться к нетождественности исторических условий России и Европы и тем самым обосновать причины этого отставания. «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевляло предков наших чистыми восторгами, и благотворное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение...» (7, 210).

Второе основное отличие в развитии России и Европы Пушкин однозначно связывает с православным христианством, утверждая, что греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. «В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и Божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно и просвещением» (8, 93).

Высокое предназначение России Пушкин связывает с ее географическим положением, в результате которого Россия исторически связывала Восток и Запад и вместе с тем была щитом между Западом и Востоком, принимая на себя удары с той и другой стороны. В категориях современной геополитики историческая миссия России, ее «высокое предназначение»

ние» могут быть выражены следующим образом: Россия, будучи мощным государственным образованием, на протяжении многих столетий сохраняла в прошлом и сегодня сохраняет геополитическое равновесие на огромном Евразийском континенте. Это «высокое предназначение» и смог выявить Пушкин: «Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией» (7, 210).

Такова цена прогресса в области европейской культуры, которая была обеспечена ценою страданий русского народа, «а не Польши, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна». Пушкин добавляет, что монголы, в отличие от арабов, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Он отмечает, что Россия спасла народы Европы и от Наполеона, претендующего на мировое господство:

И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир? (3, 209)

Стихотворение «Клеветникам России», из которого приведен отрывок, было написано по итогам польского восстания 1831 года, явилось ответом Пушкина на поток русофобских статей, появившихся в периодической печати европейских стран, и прежде всего во Франции.

Углубление историософской позиции Пушкина мы находим в его полемике с Чаадаевым, который был когда-то для Пушкина образцом для подражания. Он энергично возражает Чаадаеву, который в своем «Философическом письме» дал нигилистическую оценку развития русской истории и русской культуры. Пушкин снова воспроизводит свои аргументы, что Древняя Русь защитила в прошлом Европу от татаро-монгольского нашествия, что «нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех». Вместе с тем Пушкин не принимает весьма спорного тезиса Чаадаева, что Русь приняла христианство от дряхлой Византии и тем самым обрекла себя на культурную

отсталость. Этот тезис совершенно несостоятелен. Византия в X веке была самым культурным и самым цветущим государством в Европе. Но Пушкин подчеркивает и второе обстоятельство: «У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве» (10, 689).

Пушкин приводит длинный перечень событий из русской истории, которые свидетельствуют о трагичной и в то же время великой исторической судьбе русского народа: «А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?».

В письме к Чаадаеву Пушкин заявляет и свою гражданскую позицию, которая сегодня, в период новой русской смуты и распада, может служить нормой патриотизма и нравственного ригоризма: «Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (10, 689).

Однако Пушкин никогда не был сторонником искусственной изоляции России по отношению к Европе. Благотворное влияние европейской культуры, начиная с Петра Великого, он многократно отмечает в ряде своих сочинений. В отечественной литературе эта сторона пушкинского творчества была специально рассмотрена С.Л.Франком¹⁰. Образ Петра встречается во всех жанрах пушкинского творчества. Петр — полководец, победитель Карла XII, решивший историческую задачу — выхода России к морям; Петр — строитель, основатель Санкт-Петербурга, создатель русского флота; Петр — преобразователь России, ее горнорудной, металлургической и текстильной промышленности. «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, принятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (7, 211).

Еще в 1827 году Пушкин решил приступить к написанию истории Петра Великого. Получив разрешение императора Николая I работать в архивах Коллегии иностранных дел, он в течение 1835 года собрал материал, обработка которого, к сожалению, не была завершена. До нас дошли 22 тетради, представляющие собой конспекты ряда документов и истори-

ческих сочинений. Однако некоторые тетради оказались утраченными. Объем проделанной работы впечатляет. Но пушкинские поэмы — «Полтава» и «Медный всадник» — являются данью поэта, в которой он воспел петровские деяния:

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра...

<...>

В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг герой Полтавы,
Огромный памятник себе (4, 184, 220).

Универсальность пушкинского гения мы видим в многочисленных вариациях историософского плана, но уже во всемирном масштабе: «Подражания Корану», «Песни западных славян», «Маленькие трагедии» с их западноевропейскими формами, но исконно русским содержанием — вот, по словам Ф.М.Достоевского, сила духа русской народности, ее стремление в своих конечных целях ко всемирности и ко всечеловечности. «В Пушкине две главных мысли — и обе включают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей, — говорил он. — Первая мысль — всемирность России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубокое родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не как мечтание или пророчество, но исполнена им на деле, заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими... Другая мысль Пушкина — это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обречем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только доказал, но и совершил первый на деле»¹¹.

Отношение Пушкина к истории отечества проявилось в самом лучшем благорасположении к автору «Истории России в рассказах для детей» А.О.Ишимовой, которую он хотел привлечь в качестве сотрудника журнала «Современник». Последнее письмо Пушкина, написанное за несколько часов до дуэли, адресовано именно А.О.Ишимовой. Он выражает сожаление, что не может встретиться с нею и добавляет: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах” и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!».

«И ВНЕМЛЕТ АРФЕ СЕРАФИМА В СВЯЩЕННОМ УЖАСЕ ПОЭТ»

Исследование творчества Пушкина в христианско-православном контексте — задача весьма сложная. Пушкиноведение советского периода всячески обходило эту тему, характеризуя Пушкина как атеиста-вольнодумца, декабриста-революционера, в лучшем случае как рационалиста. Однако русская философская и богословская литература содержит немало статей, которые проложили путь к анализу пушкинского творчества как наследия поэта и мыслителя, глубоко укорененного в православной традиции. Статьи Ф.М.Достоевского, В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, митр. Антония (Храповицкого), прот. Иоанна (Восторгова) убедительно доказывают, что Пушкину было присуще православное мирозерцание, и его творчество, особенно зрелого периода, было пронизано религиозными, православно-христианскими интуициями. Выход в свет книги «А.С.Пушкин: путь к Православию», содержащей тексты статей выдающихся русских мыслителей и священнослужителей, значительно облегчает нашу задачу¹².

Каким же образом происходила эволюция взглядов Пушкина от неверия, или скорее, полуневерия, к вере? Крайними полюсами этой эволюции являются стихотворения «Безверие» (1817) и «Странник» (1835). Французское воспитание в семье и Лицее посеяли в сознании юного поэта, по словам И.Ильина, «дух религиозных сомнений, скептического пессимизма, унылого разочарования, богоборчества и богохульной эротики (французские энциклопедисты, Вольтер, Парни, Байрон и др.). Он тоже был заражен этим духом и должен был отряхнуться от него». «Безверие» было прочитано Пушкиным на выпускном экзамене по русской словесности 17 мая 1817 года. Это стихотворение в полной мере выражает умонастроение поэта, которому присущи сомнение, уныние, психология неверия, отрицание высших ценностей:

Взгляните — бродит он с увядшею душой,
Своею ужасною томимый пустотой...
Напрасно вкруг себя печальный взор он водит:
Ум ищет Божества, а сердце не находит (1, 216).

Стихотворение «Странник» несет диаметрально противоположную идею — пробуждение к новой жизни, обретение веры, принятое родными и близкими едва ли не за безумие:

Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.

Кто поносил меня, кто на смех подымал,
 Кто силой воротить соседам предлагал;
 Иные уж за мной гнались; но я тем боле
 Спешил перебежать городское поле,
 Дабы скорей узреть — оставя те места,
 Спасенья верный путь и тесные врата (3, 311—312).

Восемнадцать лет, отделяющих «Странника» от «Безверия» — это длительный период преодоления атеистического скептицизма и духовного возрождения. Как происходило в поэте возрастание духовного трезвения, каким образом сумел он преодолеть «коварные стремления преступной юности своей, самолюбивые мечты, утечи юности безумной», как бесповоротно осуждал он свои собственные падения, выражал по поводу содеянного глубокие сожаления, мы можем судить лишь по его собственным оценкам:

Воспоминание безмолвно предо мной
 Свой длинный развивает свиток;
 И с отвращением читаю жизнь мою,
 Я трепещу и проклинаю,
 И горько жалею, и горько слезы лью,
 Но строк печальных не смываю (3, 157).

Эти исповедальные строки выражают самооценку поэтом своего прежнего творчества; никто из современников и никто из последователей не судил Пушкина так строго, как сам он судил себя. «Так совершал Пушкин свой духовно-жизненный путь: от разочарованного безверия — к вере и молитве; от революционного бунтарства — к свободной лояльности и мудрой государственности; от мечтательного поклонения свободе — к органическому консерватизму; от юношеского многолюбия — к культу семейного очага. История его личного развития раскрывается перед нами как постановка и разрешение основных проблем всероссийского духовного бытия и русской судьбы»¹³.

Перелом, разрыв с неверием и духовное преображение поэта приходится на Михайловский период, который по праву называют «периодом окончательного обрусения Пушкина». Духовный подвиг всякого человека — загадка, а духовное преображение великого русского поэта — это метафизическая тайна. Тем не менее следует выявить причины, которые привели Пушкина к Православию, к духовному прозрению. Причины внутреннего порядка связаны с глубоким освоением отечественной исто-

рии, которое происходило под сильнейшим воздействием «Истории» Н.М.Карамзина; с осмыслением творческой роли православного христианства как основания всей русской культуры; и, как следствие, глубоким приятием истины Священного Писания. В беседе с С.Н.Глинкой, несколько позднее, Пушкин говорил о Библии: «Вот Единственная книга в мире: в ней все есть». Исключительно интересны оценки протоиерея Иоанна Восторгова: «Библия вдохновляет его, Евангелие становится его любимой книгой; он призывает Бога, допускает Его Промысл; восхищается псалмами, приводит слова Екклесиаста; в стихи перелагает молитвы, слова Священного Писания; молится Богу, ходит в церковь, посещает монастыри, служит молебны; приступает к таинствам; высказывает желание в память своего рождения выстроить в своем селе церковь во имя Вознесения»¹⁴.

Причины внешнего порядка сопряжены были прежде всего со всем духовным укладом, традиционным образом жизни Михайловского и Псковской губернии в целом. Пушкин постоянно слышал чистую русскую речь, русские народные песни, записывал сказки, предания, напевы. Святые Горы и русский православный колорит благотворно повлияли на поэта, расплавили и вынесли из его души скептицизм вольтерьянства, увлечения масонством, подражание Байрону. Однако более глубокие причины были связаны с отношением Пушкина к выступлению декабристов и беседой с императором Николаем I, которая положила конец его ссылке. Декабрьское вооруженное восстание не могло не отразиться в душе Пушкина. С одной стороны, со многими из заговорщиков он был близко знаком, и их печальная судьба после провалившегося выступления оставила в нем глубокий след; а с другой — несколько позднее Пушкин писал, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов безо всяких насильственных потрясений». Еще более определенно он выразил это в заключительной главе «Капитанской дочки»: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая голова полушка, да и своя шейка копейка».

Два пушкинских произведения Михайловского периода характеризуют его преобразование — это драма «Борис Годунов» и стихотворение «Пророк». Именно «Пророком» отмечено бесповоротное духовное восхождение Пушкина. Он сумел найти такие выразительные средства, такие пронзительные образы, которые доносят до нас, как поэт, томимый «духовной жаждой», был услышан Богом. Именно Бог определяет поэту высокое назначение — «глаголом жечь сердца людей». По словам С.Н.Булгакова, в зависимости от того, как мы уразумеваем «Пророка», мы понимаем и

всего Пушкина. Адам Мицкевич назвал «Пророка» Пушкина его автобиографическим признанием: рассказ ведется от первого лица, нет ни одного лишнего слова, все строго деловито, как в клиническом протоколе, показание Пушкина совершенно лично и вместе с тем вневременно и универсально¹⁵. После «Пророка» поэзия Пушкина свободна от богохульства, политического радикализма и масонской мистики.

Достоин удивления совпадение двух событий, происшедших почти одновременно: 8 сентября 1826 года был написан «Пророк», еще в Михайловском, а десять дней спустя, 18 сентября, Пушкин уже беседует с императором Николаем I в Малом Николаевском дворце, примыкавшем к Чудову монастырю, который поэт незадолго до этого отобразил в «Борисе Годунове». Встреча с императором многое изменила в судьбе поэта: закончилась его ссылка, Пушкин был не только восстановлен в правах, но был обласкан царем, который обещал быть его личным цензором, разрешил пользоваться архивами и помогал материально. Содержание разговора поэта с императором не зафиксировано в наследии Пушкина, но существует множество свидетельств людей, близких Пушкину, которые смогли донести до нас много интересного. Наиболее развернутыми считаются воспоминания польского графа Струтынского¹⁶.

Не менее значительным было влияние личности Пушкина и его творчества на императора. В 1835 году Николай I ездил в Калиш на встречу с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом. Накануне отъезда, опасаясь возможного покушения, он оставил завешание для своего наследника. П.М.Бицилли отмечает, что завешание Николая I и по его содержанию, и по плану во многом совпадает с последним монологом Бориса из пушкинской драмы, в котором Годунов давал своему сыну Феодору советы о том, как нужно постепенно входить в обязанности правителя, как предотвратить возможные смуты при вступлении на престол, а также наставления нравственного характера. Бицилли воспроизвел параллельные места из пушкинского «Бориса Годунова» и завешания Николая I, сопоставление которых поражает нас сходством основных идей. «Так Пушкин подвел Николая I к русскому прошлому»¹⁷.

Благодатная окрыленность творчества Пушкина многократно зафиксирована в его стихотворениях. Наиболее показательным является своеобразный поэтический диалог, происшедший между поэтом и митрополитом Филаретом. После публикации пушкинского стихотворения «Дар напрасный, дар случайный» митрополит подчеркнул, что наша судьба определена не слепым роком, она управляема Божественным Провидением. Воздействие послания Филарета на Пушкина было столь впечатляющим, что он почти сразу отозвался стихотворением «В часы забав иль

праздной скуки», которому присущи высшая степень вдохновения, исповедальный тон, благозвучность и гармония ритмики:

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт (3, 157).

Еще ранее в «Борисе Годунове» Пушкин воплотил идеал православной мудрости в образе летописца Пимена:

Я долго жил и многим наслаждался,
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь меня Господь привел (5, 201—202).

Назначение поэта и его творчества, выраженное Пушкиным в строках «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв», было многократно подтверждено его поэзией. «Эпитафия младенцу Волконскому», «Напрасно я бегу к сионским высотам», «Когда за городом задумчив я брожу», «Два чувства дивно близки нам», «Памятнику»... Этот список можно продолжать бесконечно. Особое место в этом ряду занимает стихотворное переложение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина, которая, по свидетельству современников, была любимой молитвой поэта:

Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи (3, 337).

В «Капитанской дочке», которая была завершена Пушкиным за сто дней до его смерти, и явилась духовным завещанием русскому народу, автор неоднократно обращает внимание на веру наших предков и силу молитвы, которая спасала героев повести в наиболее опасные периоды жизни. Весьма показательно в этом отношении участие Пушкина в составлении «Словаря о святых», прославленных в российской церкви, а также рецен-

зия поэта, опубликованная им в журнале «Современник». Пушкин подчеркивает, что издатель «Словаря» оказал важную услугу истории и выразил удивление по поводу того, что есть люди, «не имеющие никакого понятия о житии того св. угодника, чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству» (7, 326).

Смерть поэта явилась последней ступенью его духовного преображения. Страдая от полученной на дуэли раны, он выразил желание исповедаться и причаститься, и, по словам П.А.Вяземского, «умирающий исполнил долг христианский». Когда его секунданта Данзаса спросил поэт, не поручит ли он отомстить, то Пушкин ответил: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином». Прот. Иоанн (Восторгов) показывает в своей статье, что трехдневный смертельный недуг, разрывая связь с житейской злобой и суетою, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. «Он понял значение страдания, а это значит понять и христианство. И слово его оказалось пророческим: страданиями проразумел он смысл жизни и, наконец, смысл смерти; трехдневные страдания после дуэли окончательно укрепили его дух и сделали его зрелым для жизни новой, вечной»¹⁸.

* * *

Невозможно переоценить значение творчества Пушкина для развития русского национального самосознания. Сегодня, в год 200-летия со дня его рождения, обращение к его поэтическому наследию многократно увеличивает наш духовный потенциал, ибо Россия и русский народ представлены Пушкиным в природном, историческом и православно-христианском универсуме. Сам поэт выразил это следующим образом:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Однако достойно сожаления, что накануне юбилея появляется немало статей и книг о Пушкине, которые преисполнены стремлением исказить образ поэта, набросить тень на его творчество и тем самым проявляют уничтожение русской культуры, неприкрытую русофобию¹⁹. Настроение осуждения, злорадства по отношению к Пушкину — это осквернение духовного мира русского народа. Сам Пушкин, как бы предчувствуя это, писал: «Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви». Уж воистину — «завидует недруг столь дивной судьбе».

Характеризуя творчество Пушкина как явление чрезвычайное и пророческое, Ф.М.Достоевский в своей речи, произнесенной в 1880 году, говорил, что появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом, что в его творчестве наиболее полно выразилась народность его поэзии, народность нашего будущего и выразилась пророчески. «Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь *нравственная* черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском?.. Утверждать же, что нищая и незаурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы»²⁰.

Эти строки Ф.М.Достоевского сегодня исключительно актуальны для нас. Восприятие творчества Пушкина каждым русским человеком пронизательно выразил Ф.И.Тютчев:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Глава II

«ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ»: БИОГРАФИЯ ПУШКИНСКОГО ДУХА

С Пушкина все начинается,
а пошло от Гоголя.

А.Ремизов

Имя Пушкина — «такой знакомый и родной для сердца звук» — сопровождает нас с детства и всю жизнь. Кажется, вообще трудно помыслить о чем-либо, чего бы мы не знали о Пушкине. Круг его друзей и знакомых (по В.Вересаеву, «спутников»), хронология жизни и творчества (мифические «труды и дни»), разговоры и переписка, воспоминания современников, проблемы традиции и новаторства, огромная текстологическая и комментаторская работа, проделанная кругом пушкинистов, — все это хорошо известно и не может не впечатлять. Когда-то К.Н.Батюшков мечтал об особой науке, изучающей жизнь и поэзию стихотворца во всем комплексе ее проблем, о так называемой «пиитической диэтике». Сегодня со всей уверенностью можно заявить, что такая наука существует и имя ей — пушкинистика (или — еще шире — пушкиниана).

Но в то же время, наверное, нет другого русского классика, чье имя было бы окружено таким количеством домислов и слухов, мифов и легенд, а чье творчество было бы искажено столь многочисленными стереотипами и шаблонами восприятия. Какие трюизмы и фамильярность, достойные разве лишь героя гоголевской комедии (который, как известно, «с Пушкиным на дружеской ноге»), чаще всего исходят от пресловутой формулы «мой Пушкин»! И сегодня, когда гуманитарная наука, казалось бы, освободилась от инерции вульгарного социологизма и историзма, когда в ней открыто заявлен приоритет общечеловеческих ценностей, общественное сознание с большим трудом (и не всегда успешно) преодолевает косность и догматизм — наследие предшествующей эпохи. И от этого страдают прежде всего духовно-религиозный облик поэта и философско-нравственный смысл его произведений, которые и по сегодняшний день в сознании массового читателя предстают (что греха таить) в кошунственно-искаженном, фальсифицированном виде.

Понятно, что в советской пушкинистике проблема духовной биографии поэта, или его религиозного пути, по известным причинам не могла быть не только порядком разрешена, но даже просто принята к заявке. Исключение в какой-то мере составила книга В.С.Непомнящего «Поэзия и судьба» с характерным подзаголовком «Над страницами духовной биографии Пушкина» (во втором издании — 1987 года). Но и в указанной монографии духовный путь поэта рассматривался скорее метафорически — как отмечалось в аннотации к книге, «под знаком стремления к нравственному идеалу» (понятно, что акцентировка религиозной проблематики в то время была невозможна).

Переломным моментом в постижении духовной биографии Пушкина стала вышедшая в свет в 1990 году антология «Пушкин в русской философской критике: Конец XIX — первая половина XX века» (Сост. Р.А.Гальцева). Представленные в ней классические работы В.Соловьева «Судьба Пушкина» (1897), С.Булгакова «Жребий Пушкина» (1938), С. Франка «Религиозность Пушкина» (1933) уже напрямую соотносятся с интересующей нас проблемой. В 1991 году достаточно широко прошла републикация литературно-критических работ о Пушкине известных иерархов Православной Церкви — митр. Антония (Храповицкого) и митр. Анастасия¹. Исследования церковных публицистов, отечественных филологов и мыслителей, потрудившихся над прояснением религиозного облика поэта, были собраны в книге «А.С.Пушкин: Путь к Православию» (М., 1996): среди прочих в монографию помещена известная работа проф. И.М.Андреева «А.С.Пушкин. Основные особенности личности и творчества гениального поэта». Серьезная подборка статей, очерков и речей о Пушкине представителей русской эмиграции произведена в антологии «“В краю чужом...”: Зарубежная Россия и Пушкин» (М., 1998. Сост. М.Д.Филин).

Однако, чтобы не создалось впечатления, что тема духовной биографии Пушкина получала свое осмысление только в жанре торжественных, юбилейных речей и философско-эссеистических заметок, специально выделим капитальные исследования научно-монографического характера. Во-первых, это труд православного катакомбного священника Бориса Александровича Васильева «Духовный путь Пушкина» (М., 1994) — обобщающая монография, но, к сожалению, оставшаяся незавершенной. Необходимо отметить, что Б.А.Васильев — духовный учитель прот. Александра Меня. Над монографией о Пушкине он работал с 1960 года вплоть до своей смерти, которая последовала в 1976 году. К завершению труда, как то предусматривало завещание самого автора, много сил приложили прот. А.Мень и прихожане Сретенского храма, что в Москве. Так что можно со всей уверенностью сказать, что эта книга — результат соборного

труда. Примечательно само заглавие книги — «Духовный путь Пушкина», не случайно совпадающее с заглавием известной монографии К.Мочульского «Духовный путь Гоголя». Среди капитальных исследований по теме эволюции творческого мировоззрения Пушкина следует отметить также книгу Г.А.Лесскиса «Пушкинский путь в русской литературе» (М., 1993).

Вообще изучение философско-религиозной проблематики жизни и творчества Пушкина из положения катакомбного переходит ныне в разряд легализованного и признанного, и сам факт этот, конечно же, не может не радовать. Многие в этом направлении делают, например, В.С.Непомнящий и редактируемое им издание «Московский Пушкинист». Заслуживают внимания исследования И.Сурат «Пушкин как религиозная проблема», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и «Жил на свете рыцарь бедный...»². В Санкт-Петербурге с 1993 года выходят выпуски серийного издания «Пушкинская эпоха и христианская культура». Особый вариант филологической дисциплины «Православие и русская литература» с монографической темой «А.С.Пушкин» предложил М.М.Дунаев в своем цикле лекций для студентов духовных академий и семинарий (Ч. 1. М., 1996).

Но в то же время приходится считаться с широко распространенной точкой зрения, согласно которой подобный философско-религиозный подход трактуется если не как квазинаучный, то во всяком случае как периферийный для понимания творчества Пушкина. В ответе на анкету «Как Вы оцениваете современное состояние литературоведения в целом?» известный филолог А.П.Чудаков позволяет себе открыто заявить: «В отечественном литературоведении быстро рекрутирует (обратите внимание на саму стилистику. — *Авт.*) все новых партизан запоздалый и беспомощный религиозно-философский эссеизм, имеющий к решению историко-литературных задач отношение еще меньшее (из контекста имеется в виду — еще меньшее по сравнению с социологическим и культурологическим подходами. — *Авт.*)»³. По мнению признанного пушкиниста С.Г.Бочарова, «идеологизированная духовность наших дней» порождает «новое благочестивое пушкиноведение», заставляющее говорить о «нарастающем пушкинистском фундаментализме»⁴.

Во многом столь критическое отношение к философско-религиозному аспекту литературоведческих исследований спровоцировано, как нам кажется, целым рядом методологических трудностей, так до конца и не решенных как в отечественной пушкинистике, так и в филологической науке в целом. Дело в том, что вопрос о духовном пути Пушкина не может быть сведен к эмпирической биографии художника, к вопросу о непосредственно-бытовых формах его отношения к религии и церкви, то есть в

конце концов к вопросу чисто конфессиональному. Разница между двумя ипостасями поэта — *реальным физическим лицом* и *литературной личностью* — такая же, как между личным религиозным и церковным опытом создателя и объективным религиозным смыслом его художественных творений.

Первым камнем преткновения на этом пути становится пресловутая концепция «раздвоения» Пушкина, или Пушкина «в двух планах», — агностическая концепция, получившая широкое хождение в науке с легкой руки В.В.Вересаева⁵. Указанная концепция — основа многочисленных ошибок исследователей, впадающих то в наивный реализм (принимающих любые признания поэта как факт его внутренней биографии), а то в позитивистский скепсис (ставящих под сомнение искренность любого поэтического признания, как не имеющего ничего общего с духовным обликом поэта). В случае с Пушкиным все же необходимо помнить, что многоликость его артистической натуры, своеобразный художественный протеизм не разрушают *духовной цельности личности*. Увязывание воедино двух ипостасей пушкинского лица — реального физического субъекта и духовной личности (или человека «внешнего» и «внутреннего», как их различают апостолы Павел и Петр), установление глубинной связи между художественным творчеством и духовно-биографическим контекстом автора позволили бы выбрать более правильный угол зрения на интересующую нас проблему.

Два полюса в решении указанной проблемы: Пушкин — правовеерный и благочестивый христианин и Пушкин — безбожник, кощунственно глумящийся над святынями (в лучшем случае — «язычник и фаталист», как утверждал М.О.Гершензон⁶, или индифферентист в вопросах веры). Правда, необходимо заметить, что в последнее время большой популярностью пользуются *релятивистские* теории, согласно которым религиозность Пушкина представляется *синтезом* то язычества и монотеизма, то античности и христианства, то Корана и Библии, то Ветхого и Нового Заветов, то католичества и Православия⁷. Отмеченная еще Ф.М.Достоевским уникальная способность Пушкина к «перевоплощению» в дух других национальных культур, свидетельствующая о «всемирной отзывчивости», о «всемирности и всечеловечности» его гения, интерпретируется в подобных работах как проявление конфессионального синтеза, что само по себе странно и абсурдно. В конечном счете приходится констатировать, что последний вывод о религиозности Пушкина зависит от точки зрения исследователя, от исповедуемого им самим символа веры. «И здесь, — как заметил В.Непомнящий, — верно утверждение, что каждый пишущий о Пушкине пишет свой автопортрет (что, кстати говоря, заметно на приме-

ре как религиозно-философской критики, так и атеистической по своей сути пушкинистики советского периода. — *Авт.*); и здесь, в науке, есть область, где вера руководит знанием; и здесь каждому дается по его вере»⁸.

Вопрос далеко не праздный, что акцентировать исследователю в духовном облике Пушкина: ошибки его молодости, «задор цинизма», свойственный отдельным высказываниям поэта и в зрелые годы, или все-таки то, что «строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни» (Н.В.Гоголь). Здесь, как нам кажется, руководством могут служить мудрые слова Гоголя: «Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни <...> Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же тогда из нас христианин? <...> Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности»⁹.

То, о чем столь определенно высказался Гоголь, актуально и сегодня — прежде всего это касается практики изданий сочинений Пушкина. Стоит ли, к примеру, в массовых изданиях поэта перепечатывать поэму «Гавриилиада», как это сделано в вышедшем недавно массовым тиражом трехтомнике (притом, что многие тексты зрелого периода творчества, печатающиеся в собраниях сочинений в разделе «из ранних редакций», в трехтомнике совсем не воспроизведены, а ведь речь идет о возможном продолжении элегии «Воспоминание» («Я вижу в праздности, в неистовых пирах...»), о второй редакции «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», об оригинальном отрывке «Чудный сон мне Бог послал», замаскированном почему-то под третий перевод из Саути)? Или поступить с «Гавриилиадой» так же, как поступили в свое время издатели М.Ю.Лермонтова с целым корпусом его юнкерских порнографических поэм? Показателен в этом отношении опыт И.Ю.Юрьевой, которая в своей книге «Пушкин и христианство» (М., 1998), отслеживая все текстуальные параллели между произведениями поэта и Библией, отказалась по принципиальным соображениям воспроизводить полный текст поэмы, от которой, как известно, позднее и в категорической форме отрекся сам поэт.

Таким образом, еще одна методологическая трудность — это проблема *развития духовного состава* личности самого поэта. И как биографическое лицо, и как творческая личность Пушкин находился в постоянном развитии. Достаточно сравнить, с одной стороны, полуироническое замечание из «Евгения Онегина»: «Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел...» (5, 145), а с другой — взвешенное в своей мудрости и претендующее на известную итоговость признание из статьи 1836 года «Александр Радищев»: «Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молоджавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют» (7, 243). Понятно, что Пушкин менялся со временем и делал свой жизненный опыт предметом духовного осмысления. Всей своей судьбой Пушкин доказал очевидность выведенной же им аксиомы: «Вращается весь мир вокруг человека, — / Ужель один недвижим будет он?» (3, 341).

Развитие, по Пушкину, — отличительная черта всего живого и органического. Исключения из правила очень редки: типы подпольного человека — барон Филипп (из «Скупого рыцаря») и Германн (из «Пиковой дамы») — типичные мономаны, безумцы, одержимые *idéefixe* (что, кстати, в переводе с французского означает «неподвижная идея»). Как показал Р.О.Якобсон в классическом исследовании «Статуя в поэтической мифологии Пушкина»¹⁰, неизменный ужас в сознании поэта вызывали два обстоятельства — окаменение живого и оживление каменной статуи. Что касается любимых пушкинских героев, то они показаны в постоянном развитии. Так, Евгений Онегин, как это и подобает романному герою, на протяжении всего произведения «либо больше своей судьбы, либо меньше своей человечности» (М.М.Бахтин). Онегин не покрывается каким-то однозначным ярлыком типа «лишний человек» или «будущий декабрист».

Методологическая сложность проблемы заключается в том, что духовное развитие литературных героев, равно как и их создателя, не может быть правильно осмыслено в категориях эволюционной теории и вообще — шире — в рамках позитивистского научного подхода¹¹. В жизни человеческого духа бывает все: и взлеты, и падения, духовная смерть и чудо преображения, но только не эволюция, предполагающая направленный характер и постепенность количественных изменений. Если подытоживать разговор о духовном смысле пушкинского романа в стихах, то следует подчеркнуть, что он именно в *духовном развитии* его центральных героев — Онегина и Татьяны. После убийства на дуэли друга, преследуемый укорами совести, Онегин близок к мысли о самоубийстве: «Зачем я

пулей в грудь не ранен? ... Зачем не чувствую в плече / хоть ревматизма? — ах, Создатель! / Я молод, жизнь во мне крепка; / Чего мне ждать? тоска, тоска!..» (5, 173). И только встреча с Татьяной в 8-й главе способна возродить Онегина. Пушкин удачно использует в своем романе евангельский календарь (этой теме посвящена специальная статья В.А.Кошелева¹²). Финальное объяснение героев происходит, по всей видимости, на Страстной неделе Великого поста (ср.: «...в воздухе нагретом / Уж разрешалася зима...», 5, 159), а точнее даже — в Великую пятницу: на это указывает и следующее замечание автора об Онегине: «Идет, на мертвеца похожий» (5, 159). Онегин и есть тот духовный мертвец, который в системе религиозно-антропологических взглядов Пушкина ближе всего к воскресению. Последние слова Татьяны «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна» (5, 162) также получают свое истинное духовно-исповедальное значение и особый нравственно-религиозный статус в контексте евангельского понимания внутренней хронологии романа.

Поэзия Пушкина — прежде всего поэзия его *физического* и *духовного роста*. Всем памяты юношеские призывы из 1-го послания «К Чаадаеву» (1818): «Пока свободою горим, / Пока сердца для чести живы...» (1, 307). Но буквально через шесть лет Пушкин напишет тому же адресату: «И в сердце, бурями смиренном, / Теперь и лень и тишина» (2, 195). Что это: случайная оговорка в устах поэта, минутная ослабленность души, обусловленная воздействием внешних биографических обстоятельств, или общая закономерность жизни пушкинского духа? Скорее всего второе, ибо пушкинский дух не стоит на месте, его живая органика противится власти любой неподвижной идеи — даже такой привлекательной для молодых умов, как революционное преобразование мира.

Духовный рост Пушкина осуществлялся органично, захватывая все те стадии, которые уготованы личности: детство, отрочество, юность, молодость, мужество, зрелость и мудрость. Так, В.С.Непомнящий выделяет в творческом развитии поэта три семилетия (или седмицы), проявляющиеся с символической четкостью¹³ (заметим, что седмица — это мера человеческой жизни, принятая у наших предков; современная наука подтверждает, что каждые семь лет обновляется молекулярный состав человека, т. е. каждые семь лет мы, можно сказать, уже совсем другие люди). Три хронологически равных этапа биографии Пушкина таковы:

1. **Раннее семилетие** (1816—1823 годы). Нижняя и верхняя границы этого периода неслучайны: 1816 год — переход от раннелицейского этапа к собственно пушкинской писательской биографии; 1823 год — цен-

тральный момент «кризиса 1820-х годов», когда обнаруживает трагическую сущность пушкинское понимание проблемы свободы.

2. **Зрелое семилетие** (1823—1830 годы) — период работы над «Евгением Онегиным», постановка проблемы человека и его места в мировом порядке как *устроенном целом*. Переломным моментом в биографии художника становится 1825 год — год завершения работы над «Борисом Годуновым». Именно тогда Пушкин напишет: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (10, 610). Интересно, что именно с «Бориса Годунова» русский критик и современник поэта И.В.Киреевский начинал самобытно-пушкинский этап русской литературы¹⁴.

3. **Позднее семилетие** (1830—1837 годы). Если до середины 1820-х годов Пушкин развивается последовательно (правда, чувство меры и такт действительности, свобода от односторонности уже и на этом этапе становятся его отличительными чертами), то в 30-е годы поэт серьезно форсирует свое духовное развитие, выходя к высотам мирового гения, достойного, а где-то, может быть, даже превосходящего таких авторитетов, как Шекспир и Гете. Заметим также, что гибель поэта совпала с концом третьей седмицы. Смерть поэта, как это ни покажется providенциальным, является логическим завершением третьего этапа творчества, который ознаменован своего рода духовным завещанием (роман «Капитанская дочка», «каменноостровский» цикл лирики, сакраментальное «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»). Вообще для поэта характерно отношение к своей жизни как к художественному произведению (эта мысль развита Ю.М.Лотманом в его исследовании «А.С.Пушкин. Биография писателя», Л., 1981). Пушкин на каждом этапе своей биографии (будь то романтизм Южной ссылки или духовные взлеты Михайловского и Болдинского периодов) извлекает максимум возможного из внутренних ресурсов души и того, что предлагает ему Случай (понимаемый как «мгновенное мгновенное орудие Провидения», 7, 100), доводя взаимные отношения Свободы и Судьбы до гармонического исхода, придавая их драматическому напряжению поистине художественную форму.

Выделенные этапы творческого пути Пушкина — одновременно и этапы его духовной биографии, которые различаются между собой отношением поэта к вопросам религии и церкви, проблемам веры и бессмертия. В этом отношении ранний период пушкинского творчества (1810-е — первая половина 1820-х годов) может быть назван *просветительским*. Для него характерны, по словам Г.А.Лесскиса, «антиклерикальная и антирелигиозная направленность гедонизма»¹⁵ (в философском плане — верность идеям французского Просвещения, а в литературном — традициям легкой поэзии и либертинажа). Мировоззренческую позицию Пушкина

этого периода следует трактовать скорее не как безверие и атеизм, а как *деизм*. Своеобразным «документом человеческого сердца» (Вл. Гиппиус), таящим в себе — пусть в свернутом виде — программу будущего развития личности поэта, выступает стихотворение «Безверие», прочитанное на выпускном экзамене по русской словесности 17 мая 1817 года. Основная тема стихотворения — тема грешника, «того, кто с первых лет / Безумно погасил отрадный сердцу свет» (1, 216). Но грешник, по Пушкину, не просто человек без сердца или «сердцем материалист», но именно «человек с раздвоенным сердцем» (Б.П. Вышеславцев). Тема грешника, изнывающего в безверии, подается Пушкиным как трагическая. Не случайно герой назван «слепой мудрец», а его разум — «и немощным, и строгим» (1, 217). Поэтому и «напрасный сердца крик!» (1, 218): вопиет не разум, казалось бы, изощренный в логике и философии, а именно сердце — вместилище совести, потаенный центр духовной жизни человека. Один из христиански ориентированных мыслителей П.Д. Юркевич так заметил о противниках религии, подобных герою пушкинского «Безверия»: трагедия их заключается в том, что «они идут против настоятельнейших и существеннейших побуждений своего сердца»¹⁶. И как это, может быть, ни выглядит странным, но Пушкин-лицеист уже приобщен к мудрости христианской антропологии. «Безверие» 1817 года — это открытый путь к теме душевного страдания грешника («Взгляните — бродит он с увядшею душой, / Своей ужасною томимый пустотой», 1, 216), к теме блудного сына — раскаяния и спасения, так внятно прозвучавшим в зрелой лирике поэта.

Но в ранний период творчества Пушкин отдает дань модному в то время жанру кошунственной поэзии (форме игровой, подчас даже совсем непристойной перелицовки текстов Священного Писания): лицейская поэма «Монах», южная поэма-травести «Гавриилиада» — тому свидетельства. Пик пушкинских кошунств приходится на так называемый Кишиневский период, когда создаются послание «В.Л. Давыдову» с пародированием мотива Божественной эвхаристии (ср.: «Кровавой чаши причастимся — / И я скажу: Христос воскрес», 2, 40) или стихотворение «Христос воскрес, моя Ревекка!». Практически исчерпывающий перечень как травестированного, так и серьезного обыгрывания текста Священного Писания установлен в работе Б.М. Гаспарова «Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка» (Вена, 1992).

Отдельного объяснения заслуживает травестированное обыгрывание Пушкиным образа Богоматери, что закономерно ставят молодому поэту в вину. Но по этому пункту следует заметить, что к полной дискредитации сакрального образа поэт не выходит. Обвинения Пушкина в демонизме и

богоборческом бунте, достойном героев Достоевского (точка зрения С.Штейна¹⁷), на наш взгляд, совершенно несостоятельны. Более прав был известный пушкинист В.Ходасевич, который по поводу кощунственной «Гавриилиады» высказался так: «Если всмотреться в “Гавриилиаду” немного пристальнее, то сквозь оболочку кощунств увидим такое нежное сияние любви к миру, к земле, такое умиление перед ними, что в конце концов хочется спросить: разве не религиозна самая эта любовь?»¹⁸. А об образе Девы Марии у Ходасевича есть еще одно тонкое замечание: «Думается, что со временем (при известных оговорках, конечно) образ Марии займет место в ряду идеальных женских образов Пушкина. Сквозь все непристойные и соблазнительные события, которые разыгрываются вокруг нее и в которых она сама принимает участие, почти только пассивное, Мария проходит незапятнанно чистой. Такова была степень богомольного благоговения Пушкина “перед святыней красоты”, что в поэме сквозь самый грех сияет Мария невинностью»¹⁹.

Рецидивы просветительского отношения к религиозным вопросам проявляются у Пушкина и позднее. Может показаться парадоксальным, но Пушкин в 1826 году вместе с известным программным стихотворением «Пророк» пишет непристойный мадригал К** («Ты Богоматерь, нет сомненья...»), в котором женский адресат уподобляется Богоматери и матери Амура одновременно, а образ Христа подменяется «богом Парни, Тибуллы, Мура» (2, 311). На этом примере лишний раз убеждаемся в том, что изживание традиций просветительской философии, так называемого вольтерьянства, у Пушкина затянулось (значительно быстрее и бесповоротнее Пушкин распрощался с романтическими иллюзиями, наследием другого властителя дум — Байрона).

Ранний период творчества Пушкина отмечен также увлечением вольнолюбивой лирикой. Молодого поэта нередко обвиняют в ниспровержении не только небесных святынь, но и земных (имеются в виду его призывы к революции, верность декабристским идеалам). Что касается политических произведений поэта, к которым следует отнести широко известные оды «Вольность», «Кинжал», «Андрей Шенье» и послание «В.Л.Давыдову», то их революционный смысл, может быть, за исключением последнего стихотворения, чрезмерно преувеличен. Как точно заметил Г.Мейер: «Недаром всю жизнь тянуло Пушкина к изучению всевозможных исторических смут. Вопреки невежественным измышлениям прогрессивных интеллигентов, французская революция (а позднее и проблема русского бунта. — *Авт.*) тревожила нашего, еще очень юного, поэта совсем не политически, а религиозно-эстетически»²⁰. Так, уже в ранней оде «Вольность» (1817) проблема революционного насилия из плана

социально-политического переводится Пушкиным в план *нравственно-метафизический*. Поэт не призывает к цареубийству и к народному возмущению. В своей оде он провозглашает приоритет высшего нравственного закона, отступление от которого влечет за собой возмущение совести, находящей своим ближайшим прибежищем сердце человека. Поэт равно осуждает как правление тирана, так и тактику его убийц: «О стыд! о ужас наших дней! / Как звери, вторглись янычары!.. / Падут бесславные удары... / Погиб увенчанный злодей» (1, 287). Об убийцах Павла I поэт пронизательно замечает: «Идут убийцы потаенны, / На лицах дерзость, в сердце страх» (1, 287). Но зададимся вопросом, почему именно страх в сердце? Потому что убийцы переступили через нравственный закон, который написан «не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотных скрижалях сердца» (2 Кор. 3, 3). Здесь уже напрямую намечена этико-религиозная программа Пушкина периода «Бориса Годунова».

На раннем этапе творчества (первая половина 1820-х годов) проявляются у Пушкина и приступы трансцендентной тоски, его начинает особенно ощутимо занимать проблема бессмертия души, о чем свидетельствует хотя бы стихотворение 1822 года «Таврида» («Ты, сердцу непонятный мрак, / Приют отчаянья слепого, / Ничтожество!...», 2, 103). В это время особо важное значение, можно даже сказать, драматическое напряжение получает в лирике поэта соотношение таких категорий, как «ум» и «сердце». Признания самого Пушкина: «Ум ищет Божества, а сердце не находит» (стихотворение «Безверие») и «Сердцем я материалист, но разум этому противится» (запись в Кишиневском дневнике от 9 апреля 1821 года, кстати, в связи с разговором с Пестелем) — как будто бы только подливают масла в огонь. Не случайно большинство исследователей, которые так или иначе пытались решить вопрос об отношении Пушкина к религии, в своих теоретических построениях исходили из центральной оппозиции *ум — сердце* (этого важнейшего инструмента философско-религиозной антропологии, помогающего разобраться в вопросах пушкинской веры). К примеру, выводы Е.Г.Кислицыной (ученицы С.А.Венгерова) сводятся к следующему: у Пушкина «сердце материалиста», а разум познать «вечную загадку» нельзя²¹. Русский религиозный философ С.Франк, несколько иначе оценивающий деятельность пушкинского «ума», в общем пришел к сходному результату. По его мнению, «Пушкин преодолел свое безверие (которое было ... скорее настроением, чем убеждением) на чисто *интеллектуальном* пути: он усмотрел глупость, умственную поверхностность «просветительского» отрицания»²². Нечто подобное по поводу «Подражаний Корану» (1824) высказал в свое время Вл.Гип-

пиус: «Бог явился ему (Пушкину. — *Авт.*) от разума, вступившего в борьбу с материализмом сердца»²³. Подобные утверждения требуют, на наш взгляд, существенного уточнения.

Дело в том, что ум и сердце в художественной антропологии Пушкина не противопоставлены жестко и схематично, а связаны сложными диалектическими отношениями. Так, в стихотворении «Таврида» не только сердце, но и «гордый ум» не признает мысли о смерти: «Я все не верую в тебя, / Ты чуждо мысли человека! / Тебя страшится гордый ум!» (2, 103). Сами трагические сомнения в конечном смысле бытия порождаются, по словам поэта, «однообразным волненьем мрачных дум», временным помутнением ума и сердца. Но «воскресли чувства, ясен ум», и жизнь рисуется поэту в совершенно ином свете. Не об этом ли свидетельствуют стихотворение «Демон» (с дублирующим его «Ангелом»), а также цикл «Подражания Корану» (с финальным аккордом «Святые восторги наполнили грудь: / И с Богом он дале пускается в путь», 2, 193)?

Пушкин отдавал себе отчет в том, что сердце мудрее ума. Есть многие вещи, которые может уразуметь лишь сердце. У сердца есть свой язык и своя логика, которые не всегда могут быть объяснены с позиции «эвклидова ума». Для приобретения духовной истины недостаточно лишь одного рационального познания, необходимо также интуитивное прозрение, своего рода откровение. Познание высочайших Божественных истин предполагает погружение ума внутрь сердца, ум должен, по словам святого Серафима, «укосянить в сердце». Именно в этом смысле следует понимать пушкинский парадокс: «Ум ищет Божества, а сердце не находит». В зрелый период творчества в переводе «Гимна пенатам» Р.Саути поэт даст замечательную формулу «двоения» сердца: по его представлениям, сердце человека одновременно и могущественно, и немощно. Но именно постижение «сердечной глубины», мистической природы сердца способствует пробуждению религиозного сознания. Именно с сердцем Пушкин связывает обращение к молитве и религиозное возвышение личности. Молитва (стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...») — это стремление к духовной гармонии, попытка преодоления двоения сердца, обретение искомого идеала бытийной гармонии.

Старший современник поэта и его известный адресат, крупнейший русский мыслитель П.Я.Чаадаев оставил после себя замечательные слова, как нельзя кстати подходящие к нашей теме: «Есть люди, которые умом создают себе сердце, есть и другие, которые сердцем создают себе голову; последние успевают больше первых, потому что в чувстве больше разума, чем в разуме чувств»²⁴. Пушкин, с нашей точки зрения, без сомнения относился к тому разряду людей, которые «сердцем создают себе го-

лову». Мы не хотели бы этим утверждением абсолютизировать роль сердца в жизни Пушкина и, тем более, снимать драматическое напряжение взаимных отношений ума и сердца в его жизни и поэзии. Совершенно прав был Вл. Гиппиус, который заметил: «Процесс христианской жизни, происходивший в Пушкине, невозможно вытянуть в одну линию, и отнюдь не следует понимать его как нечто мирно-эволюционное. Этот процесс расходился в разные стороны, колебля сердце до крайних напряжений, вызывая томление духа до падения в бездну, до исступленных, хотя и мгновенных, порываний к отречению»²⁵. Но, как показывает анализ пушкинской лирики, сердце — это тот пункт, по которому поэт кардинально расходится с идеями просветительской антропологии, окончательно вставая на путь признания верховенства сердца над разумом. Выявление в системе философско-антропологических взглядов Пушкина места и роли «сердца» — этого материального субстрата духовного (и по сути религиозного) отношения поэта к миру — выводит к известным догматам христианского вероучения, к православно-религиозной концепции человека, что становится еще одним дополнительным аргументом в пользу ставшего аксиоматическим утверждения «Пушкин — наше все».

Второй этап отношения поэта к вопросам религии и церкви связан с михайловским заточением, знаменовавшим выход из того мировоззренческого кризиса, в котором оказался Пушкин после того, как произвел полный расчет с просветительским и романтическим миропониманием. Такие стихотворения, как «Демон», «Свободы сеятель пустынный...» (по словам самого поэта, «подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа», 10, 61), «К морю» (одновременно прощание с романтизмом и трагический скепсис в отношении просветительской концепции истории: «Где капля блага, там на страже / Уж просвещение иль тиран», 2, 181) — все это примеры затянувшегося религиозного кризиса поэта.

Поводом к отстранению Пушкина от должности, которую он занимал в Одессе, и причиной его высылки в Михайловское становится перлюстрация на московской почте частного письма, по всей видимости, обращенного к Кюхельбекеру и содержащего рассуждения поэта на тему атеизма — результат его бесед с «единственным умным афеєм» (т.е. атеистом) англичанином Хатчинсоном. Атеизм Пушкин определяет в письме как «систему не столь утешительную, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобную» (10, 70). Однако делать из этого признания далеко идущие выводы о безверии Пушкина было бы грубой и ни на чем не основанной натяжкой.

Отношение поэта к религии и церкви на втором этапе творчества, особенно после «Бориса Годунова», вряд ли можно ограничить только исто-

рико-этнографическим содержанием. Оживленный интерес к Корану и к Ветхому Завету (будь то книга пророка Исаяи или Песнь Песней Соломона) свидетельствует о крепнущем к середине 20-х годов монотеистическом и неподдельно религиозном духе поэта. Наряду с культурологическим интересом проблема веры обнаруживает у Пушкина ярко выраженный *философско-этический* (цикл «Подражания Корану», трагедия «Борис Годунов», стихотворение «Пророк»), а начиная с 1828 года (с элегии «Воспоминание») — и *лично-религиозный* смысл. Особое значение Пушкин придает в «Борисе Годунове» противопоставлению двух национально-культурных и религиозных миров — православной Святой Руси и католической Польши. Знаменитый монолог Пимена («Да ведают потомки православных / Земли родной минувшую судьбу, / Своих царей великих поминают / За их труды, за славу, за добро — / А за грехи, за темные деянья / Спасителя смиренно умоляют», 5, 199) и слова юродивого Николки («Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит», 5, 260) не являются для Пушкина только предметом культурологического интереса, они являются важнейшей составной частью его религиозно-этической концепции. Несмотря на ироническую форму, высказанные в письме к П.Вяземскому слова поэта звучат как пророческое признание: «... никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (10, 146). В иной трактовке нуждается и финальная авторская ремарка «Народ безмолвствует», которая появилась в печатном тексте трагедии 1831 года. Не голос народной Немезиды, а внутренний акт покаяния, который предсказан в монологе Пимена («А за грехи, за темные деянья / Спасителя смиренно умоляют») — вот что слышится в этом молчании народа. Кстати, немая сцена «Бориса Годунова» повторится и в концовке цикла «Маленьких трагедий» («Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость», 5, 359), а морально-религиозный смысл этой немой сцены прояснит для русской публики Гоголь в развязке «Ревизора».

Позднее, вспоминая годы, проведенные в Михайловском, Пушкин в стихотворении «...Вновь я посетил» признается: «Но здесь меня таинственным щитом / Святое провиденье осенило, / Поэзия, как ангел утешитель, / Спасла меня, и я воскрес душой» (3, 429). То, что происходит с Пушкиным в Михайловском, можно объяснить не иначе, как *чудом преображения*. Не случайно именно здесь он пишет известный романс К*** («Я помню чудное мгновенье...»), стихотворения «Если жизнь тебя обманет...», а также, возможно, и «Возрождение» («Художник-варвар кистью сонной...»), вопрос о датировке которого в современной пушкинистике однозначно не решен. Во всех перечисленных стихотворениях проявля-

ется концепция цикличности духовной жизни, такая отличительная черта пушкинского духа, как доверие к судьбе, смирение перед лицом Божества, благоговейное преклонение перед святыней жизни, красоты и творчества. Пушкин вполне обоснованно может быть назван поэтом *возрождения, воскресения нравственного бытия*, «знатоком и оценщиком верным всего великого в человеке» (Н.В.Гоголь). Недаром П.Е.Нащокин (ближайший друг Пушкина) закончил одно из писем к поэту (от 10 января 1833 года из Москвы) следующими словами: «Прощай, воскресение нравственного бытия моего». Идеал поэта прежде всего связан с ощущением полноты бытия, включающего в себя «и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь», с тайной религиозного преображения человека.

Еще критик В.П.Боткин (современник и друг В.Г.Белинского, во многом у нас недооцененный: известное с легкой руки Белинского определение нравственного колорита лирики Пушкина — «внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность» — подсказано именно Боткиным) видел в основе всего творчества Пушкина *миф о втором пришествии*. Он усматривал этот миф в следующем: «... ему (второму пришествию. — О.З.) предшествует совершенное растрепанье мира, брани и убийства, страдание и гибель. Страшный суд истребляет с лица земли *растрепанное* человечество — и лишь после очищения земли наступает царство Духа. Так всякая истинная трагедия есть осуществление пред нами Страшного Суда»²⁶. Позитивным аспектом этого пушкинского мифа является превращение героя из разряда литературного персонажа («отчасти неопределенного, туманного и напряженного образа») в «личность человека», присвоение героем *полной меры человечности*, всей полноты «наших сердечных симпатий». Однако (и в этом нельзя не видеть негативного аспекта мифа) преображение человека у Пушкина разворачивается не в идиллическом плане. Этот процесс, как предвидел В.П.Боткин, — действительно предмет истинной трагедии. По верному замечанию В.Зеньковского, «Пушкин не был ни безбожником... ни цельной религиозной натурой» (это совершенно точное замечание применительно ко второму периоду творчества поэта). Вот почему «неверна всякая стилизация личности Пушкина»²⁷.

Важнейшим аксиологическим критерием в исследовании религиозной биографии пушкинского духа становится *отношение самого поэта к страданию*. Практически все пишущие о Пушкине сходятся в одном: тайна духовной жизни поэта, разгадка его религиозности — в страдании. Пушкин поистине великий страстотерпец, «тип русского святогрешного праведника» (А.Амфитеатров). «Борения сменяются падениями, — отмечает В.Н.Ильин, — истинно человеческий дуализм греха и покаяния, страсти

и святости, демонизма и ангелизма делается основным содержанием земной жизни Пушкина»²⁸. Вторит ему и другой исследователь, Вл. Гиппиус: «Если определить душу Пушкина, сказавшуюся в его поэзии, то ее нужно определить как душу христианскую в ее основной стихии — греха, который хочет стать святостью»²⁹. Именно «страстно-духовное поле поэзии Пушкина» представляет, по С.Г. Бочарову, важнейшую и пока еще не решенную проблему для пушкинистов³⁰.

По натуре своей Пушкин был скорее меланхоликом. Представлять его жизнерадостным весельчаком и розовым оптимистом — значит недооценивать глубин его духа. Не случайно с годами у него не только не ослабевали, но даже усиливались мрачные мизантропические признания. Вот только некоторые из них: «Паситесь, мирные народы! / Вас не разбудит чести клич. / Зачем стадам дары свободы? / Их должно резать или стричь. / Наследство их из рода в роды / Ярмо с гремушками да бич» (2, 145); «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?» (3, 59); «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей...» (5, 24); «Подите прочь — какое дело / Поэту мирному до вас! / В разврате каменейте смело: / Вас не разбудит лиры глас!» (3, 86); «Смешон, участия кто требует у света!» (3, 170); «Да вот беда: сойди с ума, / И страшен будешь как чума, / Как раз тебя запрут, / Посадят на цепь дурака / И сквозь решетку как зверка / Дразнить тебя придут» (3, 249); «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха! / Жрецы минутного, поклонники успеха!» (3, 302) и т. п. Но у Пушкина был дар, который спасал его от трагических уклонений и падений в бездну, дар, который задавал творцу особую систему ценностных приоритетов, дар, который обеспечил оригинальную философию трагизма, породил специфически пушкинскую «светлую печаль». Отношение Пушкина к вопросам религии и церкви, проблемам веры и бессмертия напрямую увязаны с осознанием самим поэтом природы его художественного дара.

Но вернемся к «страстно-духовному полю» пушкинской поэзии. Примечательно суждение Вл. Гиппиуса: «Глубина его (Пушкина. — Авт.) человеческой греховности — была в чувственности и, поскольку эта чувственность была чувственностью страдающей, — она была страстностью христианского богоощущения»³¹. Если освободиться от несколько туманной формы выражения, вообще характерной для символистов начала века, то основной смысл приведенного суждения удивительно совпадает с признанием прот. В. Зеньковского о том, что Пушкин «вводит нас в тайну *преображения* человека»³² или с выводом С. Франка: «...дух Пушкина всецело стоит под знаком религиозного начала *преображения*»³³.

Это «страстно-духовное поле» поэзии Пушкина в первую очередь представлено разветвленной системой мотивов, связанных с душевным страданием, угрызениями совести, сердечным раскаянием и покаянием. Во всей русской поэзии (включая лирику Н. Некрасова и И. Анненского), наверное, не найдется другого поэта, столь глубоко разрабатывающего экзистенциальные темы греха и совести. Начиная с 1828 года у Пушкина очень заметно углубление внутренней религиозной жизни. Дорогу поэта к живой вере открывает элегия «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»), которая, по мнению В. Розанова, одинакова с 50-м псалмом («Помилуй мя, Боже»):

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья,
В бездействии ночном сильней горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.

<...>

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю (3, 57).

Как и покаянный псалом, пушкинское стихотворение, уточняет В. Розанов, «так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда»³⁴.

Одним из ведущих архетипов пушкинского творчества к концу 20-х годов становится архетип «блудного сына». Пушкин, можно сказать, первым в литературе нового времени обращается к этой евангельской теме.

Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Завидел наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал (3, 148), —

напишет Пушкин в стихотворении 1829 года «Воспоминания в Царском Селе». В евангельской притче поэта привлечет именно идея циклического движения духовной жизни, возвращения на круги своя, ценности отеческого очага. Несмотря на то, что «много расточил сокровищ я сердечных», как признается сам лирический автор, путь раскаяния и возрождения не закрыт ни ему, ни кому другому. Ведь даже в финале «Пира во время чумы» в последнем жесте благословения Священником Вальсингама звучит надежда на спасение грешника: «Спаси тебя Господь! / Прости, мой сын» (5, 359).

К 30-м годам Пушкин преодолевает бессознательное в своем христианском мирозерцании и уже вплотную подходит к сознательному построению христианской системы мировоззрения. Это характеризует **третий этап** в отношении Пушкина к религии и церкви. Именно на этом этапе становится актуальным вопрос о разграничении в рамках пушкинского миропонимания таких понятий, как *религиозность*, *христианство* и *Православие*. Должен быть решен вопрос и о самой природе пушкинского христианства: является ли оно бессознательным отражением на уровне интуиции национального гения тех или иных религиозных тем и мотивов, так называемых архетипических комплексов, или оно обнаруживает тенденцию к оформлению во вполне определенное миропонимание, претендующее на звание устойчивой идеологической системы? С нашей точки зрения, религиозность, христианство и Православие — это своеобразные три ступени единой лестницы, по которой восходил Пушкин в течение всей своей жизни (символическим подтверждением тому стали последние слова, сказанные уже умирающим поэтом В.Далю: «Ну, подымай же меня, да выше, выше, ну, пойдем»). Факты же биографии и творчества Пушкина середины 30-х годов свидетельствуют в защиту крепнущего его интереса к Православию, в защиту складывающейся в его сознании системы христианского мировоззрения.

Так, в черновиках «Путешествия Онегина» находим следующую фразу: «Не допускать существования Бога значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге». В этом же году в рецензии на второй том «Истории русского народа» Н.Полевого Пушкин запишет: «*История древняя кончилась Богочеловеком*, говорит г-н Полевой. Справедливо. Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!» (7, 100). Но как же Пушкин оценивает христианство, в том числе и национальную форму его — Православие?

Взгляды поэта на этот предмет все время уточняются. Проследим эволюцию подобных взглядов на материале писем поэта к П.Я.Чаадаеву. 6 июля 1831 года Пушкин отвечает своему адресату: «Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме?» (10, 659). А сейчас обратим внимание на письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 года по поводу опубликованного последним в журнале «Телескоп» 1-го «Философического письма». В нем уже меняется отношение Пушки-

на не только к протестантизму, но и к католицизму, прямо и недвусмысленно высказывается отношение к православной вере. «Вы говорите, — пишет Пушкин, — что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? <...> Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (10, 689). В устах поэта приведенные слова звучат как недвусмысленное признание живой органической связи личной судьбы и национальной истории, истории отечества и его важнейших религиозных догматов, воплощенных в Православии.

Юридическим принципам европейского мира — «мера за меру», «законническому» характеру католической культуры Пушкин противопоставляет благодатную природу милости, исходящую от полномощного монарха. Н.В.Гоголь донес до нас мнение Пушкина на этот счет: «Зачем нужно... чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит»³⁵. Если отвлечься от гоголевской стилистики фразы, то нельзя не согласиться, что основная мысль суждения все-таки принадлежит Пушкину. Это доказывают такие его произведения 1830-х годов, как поэма «Анджело», стихотворение «Пир Петра I», роман «Капитанская дочка». Пушкинское творчество знаменует поворот всей русской литературной классики к духовно-религиозным основам национального бытия, и совпадение на этом пути заветных мыслей самого поэта с известным памятником древнерусской книжности — «Словом о Законе и Благодати» митрополита Илариона — представляется далеко не случайным.

В 1830 году из-под пера Пушкина выйдет во многом загадочное стихотворение «В начале жизни школу помню я...». Аллегорическая картина (*великолепный мрак чуждого сада*), воплощающая начало европейской

культуры, прочитывается без больших осложнений. «Двух бесов изображение» — это, по всей видимости, Аполлон (Дельфийский идол) и Афродита («женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал»), а может быть, и Вакх-Дионис (здесь возможна двоякая трактовка). Но с другой аллегорической картиной дело обстоит гораздо сложнее: кумирам сада, «бросающим тень на душу» лирического героя (которым выступает объективированный образ самого поэта в период его пребывания в Лицее), Пушкин противопоставляет «смирненную, одетую убого, но видом величавую жену». Поэт не конкретизирует образ «величавой жены», хранящей строгий надзор над школой, но особо отмечает: «Меня смущала строгая краса / Ее чела, спокойных уст и взоров, / И полные святыни слова» (3, 190). В этом образе пытались усмотреть и «олицетворение Высшей Житейской Мудрости» (Н.С.Кохановская), и средневековую католическую церковь (Г.А.Гуковский), и Святую Русь (митр. Антоний). Более точную и доказательную трактовку этого образа дает, с нашей точки зрения, Б.А.Васильев³⁶. Он сближает образ «величавой жены» с древнерусской иконой Богоматери «Знамение», которая находилась в Знаменской церкви близ Лицея в березовой роще — месте отдыха и игр лицеистов. Таким образом, проясняется глубинный духовный смысл пушкинского стихотворения — противопоставление живого символа Богоматери пантеистическим силам Древней Эллады.

Христианским было отношение поэта к браку. 18 февраля 1831 года Пушкин обвенчался с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Большого Вознесения, что у Никитских Ворот. (День рождения Пушкина приходился на праздник Вознесения Господня, отсюда и выбор церкви — Большого Вознесения.) Но примечательно, что уже в 1827—1829 годах (которые Ю.М. Лотман назвал «периодом скитаний») Пушкин озабочен созданием семьи, хотя на первых порах это выражается в сватовстве то к своей дальней родственнице Софье Федоровне Пушкиной, то к старшей из сестер Ушаковых — Екатерине Николаевне, то к Анне Алексеевне Олениной (на рукописях «Полтавы» появляются даже ее портретные зарисовки и запись на французском языке «Annette Pouchkine»). В конце 1828 года поэт впервые познакомится со своей будущей женой.

Обратим внимание на стихотворение «Снова тучи надо мною...», посвященное, как известно, А. Олениной. «Рок завистливый», угрожающий поэту бедою, в биографическом контексте прочитывается как серьезное по своим возможным последствиям судебное разбирательство по делу об авторстве «Гавриилиады» (Пушкину пришлось написать конфиденциальное письмо на имя самого императора, в котором он открыл авторство поэмы, и только высочайшим указом дело о «Гавриилиаде» было прекра-

щено). Современный филолог М.Л. Гаспаров, давший блестящий монографический анализ данного стихотворения³⁷, акцентирует в его семантической структуре только тему противопоставления внешней опасности — внутренней душевной активности субъекта, выразившейся в рокоборческом пафосе («Сохраню ль к судьбе презренье? / Понесу ль навстречу ей / Непреклонность и терпенье / Гордой юности моей?», 3, 69). Но едва ли не более важной в духовном плане явилась для Пушкина тема кардинальных *возрастных изменений*, происходящих с самим лирическим поэтом. Тема существенного и для его лирического героя перехода из поры мятежной юности и гордого одиночества в эпоху мужественности духа и желанного брачного союза.

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней (3, 69).

Внутреннюю драму лирического субъекта, насквозь пронизанную фатализмом и античной идеей противостояния року, поэт пытается уравновесить рассказом о другом человеке (кротком и безмятежном ангеле с нежно опущенным взором) и его ответной реакцией — тихой, всепрощающей христианской печали. Оппозиция *античное* — *христианское* становится таким образом важным и неотъемлемым компонентом мироощущения лирического автора. Пройгнорировать ее при рассмотрении художественной концепции произведения — значит серьезно обеднить смысл пушкинского создания.

Известный факт из биографии поэта: первая реакция смертельно раненного Пушкина на предположение о серьезности его ранения и возможной близкой кончине — слова «Мне нужно устроить мой дом». Традиция родовой памяти, культ дома, родных пенатов для Пушкина 30-х годов — категории религиозные. Вот программное заявление поэта: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам. / На них основано от века / По воле Бога самого / Самостоянье человека, / Залог величия его» (3, 203, 425). Примечателен также найденный в рукописи Пушкина план продолжения известного стихотворения «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» (по новой версии датируемый 1835 годом): «Юность не имеет нужды в ат

home, зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он *домой*. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь etc. — *религия, смерть*» (3, 464).

По заслуживающей внимания гипотезе В.А. Сайтанова³⁸, предположительно 28 апреля 1835 года Пушкин увидел удивительный сон с видением и пророчеством, о котором он сам написал в отрывке «Чудный сон мне Бог послал...»:

Сон отрадный, благовещий —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечная страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. — Кто там идет?.. (3, 427)

По логике всего отрывка *там* идет смерть. Сознание скорой кончины и сам факт видения произвели на поэта ошеломляющее впечатление — это важнейший поворотный момент его духовной биографии, ставший стержнем всей его предсмертной лирики. Приведенное обстоятельство объясняет духовно-биографический подтекст стихотворения «Страннику» (вольное переложение первых страниц книги Джона Беньяна «Путь пилигрима»): «Я осужден на смерть и позван в суд загробный — / И вот о чем крушусь: к суду я не готов, / И смерть меня страшит» (3, 311). Объяснение получают и религиозные мотивы «каменноостровского» цикла (цикла стихотворений, который поэт создавал летом 1836 года на даче на Каменном острове). Как показал современный исследователь В. Старк, сюжетное «ядро» цикла составляет «внутренняя литургия», или «последовательность событий Страстной недели и их ежегодного поминовения: среда — молитва Ефрема Сирина, четверг — возмездие Иуде за предательство ... пятница — день смерти Христа»³⁹. Отметим только важнейшие мотивы цикла — мотив греха («Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам...», 3, 335) и мотив искупительной силы молитвы (пушкинское переложение молитвы преподобного Ефрема Сирина по достоинству считается конгениальным самому оригиналу):

Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей —
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи (3, 337).

Приходится выразить несогласие с категорическими утверждениями И.Сурат по поводу приведенного пушкинского стихотворения: будто бы «творчество легче совмещается с конфессиональным безразличием, чем с конфессиональной последовательностью», и «религиозная тема в стихах зачастую только компенсирует по видимости недостаток цельного поэтического мироощущения, а иной раз мешает выражению личного религиозного чувства»⁴⁰. В том-то и дело, что, оставаясь верным природе искусства — задачам свободного самоопределения творческого духа, Пушкин в то же время определяется и в сфере религиозной (и даже конфессиональной). Поэт возвращает понятию культуры ее первоначальный и потерянный в период секуляризации смысл: *культура* производна от *культ-та*; представляя особый вид духовной работы, она оказывается сопрядена теургическому действию.

В этом плане особенно интересно сравнить употребление Пушкиным слов со значением «умиление» в двух стихотворениях: в уже рассмотренном «Отцы пустынноики и жены непорочны...» и в поэтической декларации прав и свобод художника — «Из Пиндемонта». «Но ни одна из них меня не *умиляет*, / Как та, которую священник повторяет / Во дни печальные Великого поста» (3, 337), — признается поэт о воздействии на свою душу молитвы преп. Ефрема Сирина. Как отмечает современный комментатор, «по слову пророка Захарии, умиление — это дар Божий, который приходит к человеку вместе с благодатью... <...> Умиление также тесно связано с молитвой...»⁴¹. Примечательно, что в стихотворении «Из Пиндемонта» «восторги умиления» вызваны к жизни восприятием красот «божественной природы» и «созданий искусств и вдохновенья» (3, 336). Но то, что роднит обе формы умиления у Пушкина, непосредственно связано с ощущением Божественной благодати, с откровением священства самого бытия, данного в равной мере как в художественном творчестве, так и в молитве.

Особое место в духовной жизни поэта к середине 30-х годов начинает занимать Евангелие. Так, Пушкин откликнется на вышедшую в России в 1835 году книгу «Об обязанностях человека» итальянского автора Сильвио Пеллико (в прошлом карбонария, проведенного 10 лет в темницах, но

не озлобившегося, а напротив — выработавшего себя в христианскую личность). В рецензии на нее Пушкин напишет: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли... <...> ...книга сия называется Евангелием, — и такова же вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие» (7, 322). Большой интерес Пушкин проявляет и к житиям святых: в журнале «Современник» за 1836 год он публикует рецензию на появившуюся в печати книгу «Словарь о святых, прославленных в российской Церкви...». Еще П.В. Анненков — первый биограф Пушкина — нашел в бумагах поэта две выписки из «Пролога» (книги, содержащей краткие жизнеописания святых): среди них перевод со славянского языка на русский повествования о житии преподобного Саввы Игумена⁴². Примечательна также статья «Александр Радищев», в которой подытоживается философско-политическая концепция Пушкина — уже не революционера и либерала, а свободного консерватора и христианского гуманиста. Не случайно свою статью Пушкин заканчивает следующими словами: «... ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (7, 246).

За 10 месяцев до трагической кончины Пушкина умирает его мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал. Смерть последовала в первый день Светлого Христова Воскресенья, в самую заутреню, 29 марта 1836 года. Пушкин отвез тело матери в Святогорский монастырь, в родовую усыпальницу. Тогда же в ограде монастыря он выкупил место для своей могилы.

Факт смерти Пушкина — не только важнейшая культурологическая, но и религиозная проблема. Вслед за Жуковским (имеется в виду его письмо к С.Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года) принято говорить о христианской кончине поэта. Нам известен также отзыв престарелого духовника о. Петра, священника Конюшенной церкви, который исповедал и причастил умирающего Пушкина: «Я стар, — признавался он, — мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он имел»⁴³. Но в то же время отдельные исследователи (опять-таки в зависимости от своих убеждений и личных пристрастий) обращают внимание то на высказанные Пушкиным в адрес своего обидчика гневные слова «Чем кровавее, тем лучше», то на якобы предпринятую страдающим поэтом попытку самоубийства, то на ответ Николая I Жуковскому по поводу просьбы последнего о выделении Пушкину и его семье такой же пенсии, какая была определена некогда Карамзину: «...мы насилу довели его (Пушкина. — *Авт.*) до

смерти христианской, а Карамзин умирал, как ангел»⁴⁴. Но все-таки вряд ли у кого, знакомящегося с последними часами жизни поэта, могут оставаться сомнения на тот счет, что Пушкин умер христианином, что, видимо, Провидением ему было отведено два дня (или 45 часов) для искупления своего греха. Об этом свидетельствует ответ поэта Данзасу (секунданту по дуэли) на вопрос: «Не поручит ли он ему чего-нибудь, в случае смерти, касательно Геккерна?». «Требую, — отвечал умирающий, — чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином»⁴⁵.

В заключение заметим, что исследование духовной биографии Пушкина, религиозной проблематики его творчества сопряжено с целым рядом трудностей. Права И.Сурат, отмечающая, что нередко «основу поэзии составляет личный духовный опыт, не осевший в душе, а только становящийся в ходе творчества»⁴⁶. Отсюда опасность огрубления, известного выпрямления пути пушкинской поэзии, даже «утилизации Пушкина в высших целях» (С.Г.Бочаров). Кроме того, необходимо иметь в виду, что в своем религиозном пути Пушкин не совпадает с Гоголем и Достоевским, хотя под конец своей жизни он и подошел вплотную к решению чисто русского вопроса — выбора между искусством и религией.

«С Пушкина все начинается, — как метко выразился А.Ремизов, — а пошло от Гоголя»⁴⁷. Но все-таки именно Гоголя В.Зеньковский назвал «пророком православной культуры». Пушкин на эту роль никогда не претендовал. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь так скажет о Пушкине: «Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел <...> ...нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли <...> ...христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт»⁴⁸. Правда, в русской культуре была попытка объявить Пушкина пророком — имеется в виду знаменитая Пушкинская речь Ф.М.Достоевского (ср.: «...Пушкин есть пророчество и указание <...> Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»⁴⁹). Но Пушкин в указанной речи больше похож на самого Достоевского, нежели на Пушкина. Это, кстати говоря, осознали представители русской эмиграции — Ив.Тхоржевский, А.Ремизов и др., которые во многом откорректировали сложившийся в XIX веке совместными усилиями Гоголя, А.Григорьева и Достоевского национальный миф о Пушкине. Это, естественно, не означает, что «всечеловечному и всесоединяющему» Пушкину Достоевского русская эмиграция хотела бы противо-

поставить «многообразного, чувственного, воинственного, демонически-пышного гения» в понимании К. Леонтьева⁵⁰ или, тем более, «праздного повесу», вбегающего «на тоненьких эротических ножках в большую поэзию» и производящему в ней переполох (известный пассаж из «Прогулок с Пушкиным» А. Терца⁵¹). Любые крайности только обедняют образ Пушкина, который по своей сути есть наиболее полное воплощение основ русской культуры, можно даже сказать, гармоническая мера русского национального характера. По выражению Гоголя, «в нем (Пушкине. — О.З.) середина»⁵².

Но если все-таки продолжить разгадывать пророческую тайну Пушкина, то ее нельзя не увидеть прежде всего в его художественном даре — воплощенном символе *эстетической теодицеи*. Не случайно в отличие от Гоголя, Достоевского и Толстого Пушкин никогда «не болел религией». «Но выше всех их стоит благословенный счастливец Пушкин, благодатный и благодатный христианин, не в муках и сомнениях, а в радости и веселии принявший Божий мир и отобразивший его в своем целомудренном художественном сознании»⁵³. Именно в этом смысле Пушкин был и остается пророческим указанием на совершенную, еще не проявленную в своем идеале природу русского человека (как скажет Гоголь, «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»⁵⁴). Пушкин — пророчество и указание в том смысле, что у всех живущих в эру Пушкина остается завидная возможность, подаренная самим поэтом, — пройти великим пушкинским путем.

«СОЮЗ ВОЛШЕБНЫХ ЗВУКОВ, ЧУВСТВ И ДУМ»

Еще со времен В.Г.Белинского мы знаем о неисчерпаемости творчества Пушкина, о том, что каждая эпоха будет по-новому прочитывать поэта. Изменения социально-исторического контекста, особенно такие резкие, как Октябрь или нынешняя ломка общества и культуры, меняют прежде всего *систему оценок* (факты порой тоже обнаруживаются новые, но реже), а с ней и оценку Пушкина — и личности его, и творчества. Сравните, например, книжку Б.Марьянова «Крушение легенды» с характерным подзаголовком «Против клерикальных фальсификаций творчества А.С.Пушкина», изданную совсем недавно, всего тринадцать лет назад, и только что вышедший сборник «А.С.Пушкин: путь к Православию». Или образ Пушкина в известной его биографии, созданной Ю.М.Лотманом, с недавно явившейся в свет книжонкой А.Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина». Что — новые факты открылись, неизвестные произведения или хотя бы строчки обнаружились? Да нет, все было известно давно, а вот прочитано и выстроено по-новому. Причем в первом случае это произошло потому, что удалось сбросить старые идеологические шоры, заставлявшие видеть в Пушкине антиклерикала и атеиста, а во втором — во имя удовлетворения старой, как мир, злорадной зависти посредственности к гению: «Он слаб и мерзок, как мы». А факты — и случаи из жизни, и собственные стихи поэта, и письма его, и отзывы современников — все те же, давно известные.

Вообще юбилей Пушкина мы отмечаем как-то странно. «Литературная газета» открыла юбилейный год публикацией И.Фридкиным писем Дантеса к Геккерну, из коих следует, что юноша был по уши, до обморока влюблен в прекрасную Натали и потому не может считаться убийцей — чего не сделаешь ради любви! А то, что Дантес в самом страстном своем письме руководствуется не страстью, а «наукой страсти нежной», что тотчас после сообщения об обмороке он тут же излагает приемному отцу четко продуманную, холодным расчетом продиктованную программу совместного свращения жены поэта, публикатор просто не заметил. А ведь

все это давным-давно исследовано в работах С.Абрамович и Ю.М.Лотмана (да и во многих других). В чем же тогда смысл публикации? В реабилитации Дантеса?

Дискредитации Пушкина служит и пропаганда вновь переизданного двухтомника В.Вересаева «Пушкин в жизни». Именно пропаганда, ибо и автором предисловия, и директором музея Вересаева, и корреспондентом, ведущим репортаж из музея, утверждается, что *только* из материалов этой книги мы можем узнать подлинного, живого, неприкрашенного и непричесанного Пушкина, потому что в советское время образ поэта был фальсифицирован во имя оправдания революционного насилия, а книга Вересаева находилась будто бы под запретом. А о том, что первая публикация ее вызвала резко отрицательный отзыв В.Ходасевича, отнюдь не большевика и вообще не советского идеолога, а поэта-эмигранта и умного, знающего пушкиниста, замалчивается, полемика с Вересаевым П.Е.Щеголева — тоже. Суть ошибки (если это ошибка) В.Вересаева заключалась в том, что он на равных представил в своей книге воспоминания и мнения друзей поэта и отзывы его политических и литературных врагов и завистников, порой честных, но раздувающих любую промах, любую ошибку Пушкина и злорадствующих по этому поводу. Впрочем, все это давно известно, но или забыто, или...

Вот это «или», может быть, принципиально важно. Идет сознательный пересмотр всего, что сделано в советский период, в том числе и в пушкинистике во имя дискредитации Пушкина. Хотя расцвет пушкинистики произошел именно в советское время, очевидным свидетельством чего могут считаться большое и малое академические собрания сочинений поэта, основанные на достижениях текстологии, тома таких изданий, как «Временник Пушкинской комиссии», «Пушкин. Исследования и материалы», двухтомник «Пушкин в воспоминаниях современников», монографии, сборники статей... Но сейчас само слово «пушкинист» употребляется как ругательство (см. упомянутую книгу Мадорского). Разбивается образ Пушкина, как разбивают памятники политических врагов. Конечно, это бесполезно и может принести только кратковременный эффект. Ведь творчество Пушкина дано нам во всем объеме. Оно говорит нам само по себе, независимо от злобы дня. Надо только вчитаться, погрузиться в тексты его произведений, сопоставляя, если это необходимо, с фактами жизни, и на жизненный облик поэта посмотреть глазами не врагов, а друзей, перед которыми он приоткрывал свой внутренний мир, свои затаенные чувства. Таких было немного, но именно они видели и знали настоящего Пушкина, открытого для любви и дружбы, истинно человеческого, не играющего какие-то роли (см. прекрасную книгу Л.И.Вольперт

«Пушкин в роли Пушкина»), не надевающего порой, особенно в юности, маску повесы, гуляки праздного, даже циника, именно для того, чтобы оберечь заветное в своей душе. И тогда:

...краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Создание гения пред нами
Выходит с прежней красотой (1, 334).

Наиболее полно, в прекрасном и совершенном виде этот истинный Пушкин предстает именно в своем творчестве. Теория «двух Пушкиных», лежавшая в основе работ Вересаева, исходящая как будто из поэтического высказывания самого поэта («Пока не требует поэта...»), опровергается всей совокупностью его произведений, в которых есть и тот житейский, погруженный «в заботах суетного света», и другой — призванный «божественным глаголом», взыскующий «прохлады сумрачной дубровы» — то есть творческого уединения, «покоя и воли», «обители трудов и чистых нег». Все это было и в жизни, и в творчестве.

Да, Пушкин был темпераментным, пылким и страстным человеком, ему были свойственны и резкие вспышки гнева, и неудержимые порывы юношеской сексуальности, и самолюбивое стремление не просто быть наравне со всеми, в том числе усами уланами и гусарами, прославившими себя на войне, но превзойти их, хотя бы «бесстыдным бешенством желаний» («Послание к Юрьеву»). Недоступное, не испытанное в юности (Лицей — монастырь, комната — келья, юноша-поэт — монах) создавалось пылким воображением художника, может быть, более ярким, чем непосредственные жизненные впечатления:

Ах! если, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточенье,
Я в персты нежные твои попасться мог,
Тогда б в сердечном восхищенье
Рассыпался на грудь под шелковый платок
И даже... может быть... Но что! мечта пустая.
Не будет этого никак.
Судьба завистливая, злая!
Ах, отчего я не табак!.. (1, 41—42)

А после выхода из Лицея хотелось догнать все испытавших старших товарищей — Каверина, Юрьева, Молодцова, как догонял он в творче-

стве и к выходу из Лицея уже догнал старших признанных поэтов — Жуковского, Батюшкова, Вяземского...

Юный поэт творил жизнь, а не только поэзию. Он овладевал новым для себя опытом чувств, поддаваясь не только своему стихийному африканскому темпераменту, — нет, он и *сознательно* хотел пережить всю полноту бытия, следуя определенному образцу, заданному культурой и представленному в жизненном опыте старших, испытанных бойцов Марса и Венеры (не знаю, есть ли бог карточной игры, которой не менее страстно отдавался юный поэт).

Я, может быть, скажу ересь, но в этой полноте бытия, безудержности порывов была не только всесторонность — была своего рода гармония: страстей и разума, творчества и жизни, любви к женщине и свободе, иначе откуда же эти строки:

Мы ждем с томленьем упования,
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья (1, 307).

Или из письма к П.Б.Мансурову: «Поговори мне о себе — о военных поселениях. Это все мне нужно — потому, что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм» (10, 15).

Любовь, дружба, товарищество, жажда свободы политической, в неизбежность которой он тогда свято верил, и личной, которую он в послелицейские годы не только испытывал, — он наслаждался, упивался ею, вызываясь демонстрировал ее (портрет Лувеля с надписью «Урок царям», — вот что наполняло его жизнь).

Конечно, все это было немножко (а иногда и не немножко) чересчур: и вызывающее поведение, и хлесткие эпиграммы и сатиры на самого царя и его любимцев, и дерзкие призывы к свободе, и посещение домов почитаемой многими Софьи Остафьевны (которая, кстати, жаловалась петербургскому полицмейстеру, что Пушкин «развращает ее невинных овечек», имея в виду, что он читал девицам свои вольнолюбивые стихи)¹, и тревоживший Пушину слишком обширный круг знакомств. Но все это (именно все) было светлым, жизнерадостным, исполненным радости бытия и творчества, а значит — поэтичным. Даже самые резкие эпиграммы были лишены личной злобы и всегда оставались смешными. Несмотря на скупость отца, бедность, бытовую неустроенность², было в этой жизни что-то беспечное, безоглядное, как в мифическом золотом веке. Даже в словечках нецензурной лексики, прорывавшихся иногда в интимных стихах

и письмах, обращенных к узкому кругу друзей и отнюдь не предназначенных для печати, нет никакой пошлости, никакого похабства, а есть точность и острота народной речи, восхищавшей Гоголя в «Мертвых душах»: «Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет... Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубишь топором»¹. Нет, Пушкин был юн и полон сил и отлично понимал, что «смешон и юноша степенный». И эти черты юности он пронес через всю свою жизнь. Она и придавала всему созданному поэтом поэтичность и ощущение полноты жизни даже в трагические минуты бытия.

Вот этой-то поэтичности, пусть своеобразной, не понимал Вересаев (не мог понять?) и не понимает Мадорский (не хочет понять!). Оба они как-то уж очень физиологически толкуют поведение Пушкина, его порывы к жизни. Может быть, потому, что Вересаев по своей основной профессии врач? Не знаю, кто такой Мадорский, но уровень его понимания поведения и творчества Пушкина явно ниже медицинского. И оба автора (да и не только они!) совершенно не замечают ни физического, ни духовного здоровья Пушкина, ни моментов игрового поведения, отлично раскрытых в упомянутой уже книге Л.И.Вольперт. Игра — это и своего рода эксперимент над собой и жизнью, и проявление избытка сил, и способ включения своего поведения в определенную культурную традицию, в которой многое было порождено именно жадной свободой от стеснительных запретов этикета, светских традиций и уж тем более официальных запретов времен Павла I. И, конечно, от ханжества и лицемерия последних лет Александра. Плодотворна ли такая игра? Наверное, не всякая и не всегда. Практика и здесь — критерий истины, конечно, практика художественная. Обратимся к ней.

Именно из жизни послелицейских лет спустя немного времени вырастает первая глава «Евгения Онегина», который живет той же жизнью, что и Пушкин в 1817—1820 годах. Даже кое-кто из друзей — Каверин — общие. Общие увлечения балами, театром и актрисами, обеды у Talon, любовные приключения и со светскими дамами, и с «красотками молодыми, которых позднее порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой». Это то, что вписывалось в игровое поведение, не чуждое, между прочим, и таким сугубо положительным персонажам, как Александр Андреевич Чацкий. Помните? «Когда в делах — я от веселья прячусь, / Когда дурачиться — дурачусь...» «Я езжу к женщинам, да только не за

этим» (не за покровительством). А у кого поднимется рука писать обвинения против Чацкого, похожие на доносы в полицию нравов!

Но почему же Пушкина не постиг «недуг... подобный английскому сплину, / Короче — русская хандра»? Да потому, что жизнь его не была оторвана от творчества, переливалась в него, сублимировалась. Но разве не ясно, что никакая фантазия, никакой талант не сотворят красоты из негодного материала. Конечно, А.Ахматова писала, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Только не из всякого сора и не всякий вырастит цветы поэзии. Точнее — то, что для одного сор, для другого — плодородная почва. В жизни Пушкина, как и в его поэзии, даже той, что казалась буйной и недостойной его таланта, было много озорства, даже юношеского хвастовства своим молодечеством, но совершенно не было того, что убийственно для творчества, — пошлости. Даже словечки из барковского лексикона служат словесной игре, употреблены остроумно и кстати — они не вульгарны (помните, он этого терпеть не мог, о чем сказал и в «Онегине», и в письмах жене). Они бьют в цель с точностью удара рапиры в руках мастера. Сравните: «От всенощной вечер идя домой» и «Всей России притеснитель...» (не цитирую, потому что, как уже сказано, Пушкин эти словечки в открытой печати не употреблял). В первом случае — смешное обыгрывание пословицы, во втором — убийственная характеристика временщика, рикошетом бьющая по самому его высокому покровителю. (Об этом очень точно и сильно сказано в талантливейшей, но почти забытой повести Б.Лавренева «Комендант Пушкин», в которой народность Пушкина Александра Сергеевича раскрывается неожиданно и всесторонне через отношение к нему Пушкина Александра Семеновича, военмора, волею судеб ставшего комендантом Царского Села). Но пошляк найдет пошлость там, где она и не ночевала, а порнографию увидит хоть в «Венере» Тициана и даже в «Спящей Венере» Джорджоне, как видели ее в «Завтраке на траве» и «Олимпии» Э.Мане. Пошлость неустраима, но кому понадобилось издавать книгу пошляка в год подготовки к юбилею злейшего врага пошлости? Могут возразить: хорошо, юности многое простительно, но ведь и в более зрелом возрасте Пушкин не успокоился. В Кишиневе бояр за бороды таскал, их толстозадых жен высмеивал или ухлестывал за ними отнюдь не с платоническими целями. В Одессе то за Амалией Ризнич, то за самой супругой М.С.Воронцова ухаживал, да еще эпиграммы на него писал. И к тому же брал уроки чистого афеизма, называя его «системой не столь утешительной, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобной (10, 70). А «Гавриилиада», где поэт и Богородицу не пощадил? Все правда. Добавим, что и в Михайловском вел отнюдь не монашеский образ жизни,

хотя и «развратным злодеем», вопреки мнению Вересаева и Мадорского не был⁴.

Но здесь была не только игра. Какая глубокая, тревожная, мучительная страсть, ревнивое сомнение звучат в таких стихах, как «Простишь ли мне ревнивые мечты», более поздних «Ненастный день потух», «Талисман»... Какое громадное пространство духовной жизни раскрывается в стихотворении «К морю». И какое глубокое содержание заключено в двадцати четырех строках обращения к А.П.Керн (все-таки хочется верить, что оно обращено к живой возлюбленной, а не к репродукции «Сикстинской мадонны», как предполагает Н.Скатов). Ведь это целый роман, в котором воплощены годы напряженной жизни, чувство неповторимой поэтичности и высоты, недоступной, пожалуй, ни для какого другого поэта⁵. Пушкин духовно (а не только умственно — см. «Послание Чаадаеву»: «В стране, где я забыл тревоги прежних лет») созрел. В письме к Н.Н.Равевскому он писал: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (10, 610, оригинал по-французски). Творить и значило мыслить и чувствовать, но этого мало: надо было еще, так сказать, дистанцироваться от пережитого состояния души, объективировать его не только в готовом произведении, но в самом процессе творчества — трудность невероятная. Пушкин признавался:

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочел
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке следуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум... (5, 29)

В «волшебных звуках» могут излиться только достойные их чувства и думы. Чувства теперь не выдуманы, не вызваны лишь игрой воображения — они реальны, пережиты, они были поэтичными сами по себе и потому могли найти поэтичную форму выражения. Но создаются стихи не в минуту пламенного восторга, не в упоении или мучении страстей.

«...Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, непостоянен, следственно, не в силе произвести истинно великое совершенство (без которого нет лирической поэзии)» (7, 30). Иное дело «вдохновение — расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных» (там же, 29). Вдохновение, таким образом, и есть союз ума и чувства, рождающих волшебные звуки.

Но ведь переживаемые чувства, восторг чаще всего не могут быть гармоничными, даже если они вызваны упоением страсти, а не страданием, отчаянием, какое испытывал Пушкин, высланный из Одессы, обреченный на разлуку с любимой, узнавший о предательстве друга-демона Александра Раевского. Какая уж тут гармония!

Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на голову мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилось! (2, 227)

Спасение приходит только в творчестве, в том состоянии души, которое рождается вдохновением:

... И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моления
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья (там же).

Эти стихи были написаны не в миг восторга и упоения,

Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на голову мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?

А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был... (там же)

И не в часы отчаяния и душевной муки, а несколько месяцев спустя, уже в Михайловском, когда прошла страсть и восторг любви и боль разлуки уже отстоялись в памяти, когда поэт был способен к «быстрому соображению понятий». Вот тогда дисгармония страстей и была претворена в волшебные звуки.

Может быть, еще знаменательнее другой пример. 29 июля 1826 года Пушкин получил почти одновременно известия о смерти одесской своей возлюбленной Амалии Ризнич и о казни декабристов. Чувство к Ризнич там, в Одессе, было страстным, напряженным, почти болезненным. Это оно продиктовало изумительные строки стихотворения «Простишь ли мне ревнивые мечты», исполненные любви, сомнения, ревности и надежд:

Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю,
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю (2, 146).

И вот теперь, спустя три года, весть о смерти Амалии Ризнич оставила поэта почти равнодушным, так он и написал:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я (2, 297).

Для «бедной, легковерной тени» он не нашел «ни слез, ни пени».

Что же произошло? Ушла любовь, но почему не явилась муза? Дело, видимо, в том, что Пушкин был в состоянии, которое позднее, в «Медном всаднике», говоря об Евгении, выразил словами удивительной психологической точности: «Он оглушен был шумом внутренней тревоги». А тревога была вызвана известием о казни декабристов — друзей, товарищей, собеседников, как Пестель, литературных соратников, как Рылеев. Может быть, Пушкину вспомнились стихи повешенного друга К.Ф.Рыльева: «Любовь никак нейдет на ум...». В смятении души, как и в упоении восторга, творчество невозможно.

Но проходит около четырех лет, и Пушкин пишет два стихотворения, как предполагают исследователи его творчества, посвященные той же Амалии Ризнич, — «Заклинение» и «Для берегов отчизны дальной»⁶. Они очень разные: в первом звучит неудержимая страсть, стихи исполнены поистине магической силы:

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, холодна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновение,
Иль как ужасное виденье.
Мне все равно: сюда, сюда!..

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда! (3, 182)

Поистине — заклинание.

Второе стихотворение, мелодичное, элегически печальное, даже скорбное, но, как ни странно, светлое. И тут, и там — ожидание, жажда встречи с умершей возлюбленной, но в первом стихотворении — здесь, в мире живых, во втором — в мире мертвых, после смерти поэта. Какой контраст и вместе с тем — согласованность: противоположности сходятся? Что же здесь сыграло главную роль: соображение понятий или сила чувств? Мучения страсти угасли, память сохранила только любовь, нежность, прощальный поцелуй и обещание встречи. Остался чистый образ любви и красоты, свободный от всего мгновенного и случайного. И потому возникла гармония чувств и дум, родившая звуки, волшебство которых мы ощущаем почти физически.

И друзья поэта, и пушкинисты множество раз отмечали спасительную силу творчества для самого поэта. Если южная ссылка, удалив Пушкина от столиц с их интенсивной литературной жизнью, не отделила его ни от обаятельных женщин, ни от интеллектуальных друзей, соединила с новыми (Раевские, И.Липранди, Н.Алексеев, В.Туманский, В.Раевский), не изолировала от страстей политических (встречи с М.Орловым, П.Песте-

лем, В.Давыдовым, И.Якушкиным, А.Ипсиланти...), то Михайловская ссылка грозила мрачным одиночеством, изоляцией от интеллектуальной элиты России и Европы. Друзья боялись за юного, незакаленного, как им казалось, опытом жизни поэта: как бы не спился — встревожился Вяземский. И что же? Пушкин превратил одиночество в творческое уединение, невозможность непосредственных контактов возместил активной дружеской, любовной, деловой перепиской. В деревне он выработал простой и здоровый образ жизни, подобный сельской жизни Онегина:

Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке,
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

Прогулки, чтение, сон глубокий,
Весна и тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...

(Был, был поцелуй, уважаемые господа, только не так, как думает господин Мадорский, иначе, скорее так, как писал П.Щеголев в помянутой уже книге «Пушкин и мужики».) Было и другое:

... Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый⁷,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая... (5, 80)

Добавьте зимой «ванну со льдом», «биллиард в два шара».

Уединение было не всегда, но когда хотелось (что может быть лучше?): рядом было Тригорское с прелестными женщинами, в которых поэт влюблялся полусерьезно, полушутливо, без мучительных страстей (вспомним «Признание»). Да и сам поэт становился магнитом, притягивающим сердца. Не только сыновняя и братская любовь вела Алексея Вульфа в Тригорское, к маменьке и сестрам, а Николая Языкова не только дружба с Вульфом. Они, как Ленский с Онегиным, с Пушкиным желали «сердечно

знакомство покороче свести. Они сошлись...». О встречах с Пушкиным, Дельвигом, А.Горчаковым известно все со школьных лет. Да и Анну Петровну Керн тянуло в Тригорское только ли родственное чувство к двоюродным сестрам и тетушке П.А.Осиповой? Не любопытство ли, пробужденное творчеством Пушкина, его первыми, пока еще только любезными, но уже завлекательными письмами?

Главное, что отличало жизнь Пушкина от времяпрепровождения Онегина, — творчество. Оно не оставляло поэта даже в часы досуга. Как жалел он о том, что не смог запомнить диалог Лжедмитрия и Марины, который пришел ему в голову во время конной прогулки и был, как ему казалось, значительно лучше написанного позднее (хотя, казалось бы, что может быть лучше строк:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла (5, 245—246).

Пушкин вел в деревне интенсивную умственную жизнь: много читал (друзья присылали журналы и литературные новинки), был в курсе всех основных политических событий, критиковал «Думы» К.Рылеева, не находя в них ни подлинной народности, ни историзма. Восхищался поэзией Баратынского, переживал трагедию петербургского наводнения, еще не предвидя своей великой поэмы. Конечно, тосковал, задумывал побег, сердился на друзей, призывавших к терпению и примирению с царем («Заступники кнута и плети, о, знаменитые князья...»).

Нет, жизнь в Михайловском не была одинокой. Пушкин вел напряженный диалог и с современниками, и с Шекспиром, Данте, Андре Шенье, и с античностью, словом, — со всей мировой культурой, которой он овладевал сильно и властно, вступая в нее как равный в среду великих. Здесь, в Михайловском, Пушкин прочитал последние тома «Истории» Н.М.Карамзина и понял, что был неправ и в очном споре с историком («Итак, вы рабство предпочитаете свободе»), и в заочном обвинении (от которого, правда, потом отрекался):

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута (1, 303).

Из этих томов, из сопоставления двух Иоаннов, Пушкину стало ясно, что для Карамзина самодержавие и самовластие не одно и то же. А беспо-

шадная правда о жестокости Иоанна IV, начале Смутного времени, преступлении Бориса Годунова потрясала. И Пушкин признал, что «История» Карамзина есть «подвиг честного человека». Но тут же почти заметил, что Николай Михайлович, «первый наш историк и последний летописец», — все-таки летописец, так как изобилие фактов, громадные пласты цитируемых летописей, преобладание нравственных оценок над анализом не только проясняют, но и затуманивают социально-политический смысл событий и действия объективных законов истории. Чтение, изучение, сравнение материалов прошлой истории и современных событий, напряженное размышление над судьбами народов и царей, постижение глубины исторических хроник Шекспира и точности занимательных романов Вальтера Скотта питали новые качества мировоззрения Пушкина — его *историзм*, который стал синтезом интуиции художника и точного аналитического ума ученого, — сочетание редчайшее. Многие мысли Пушкина обретали строгость научных формул: цель трагедии — «человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная» (7, 436); роман — «Историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании» (там же, 72); истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя (там же, 147). А риторос: значение этой формулы значительно шире, по существу, это наиболее общее определение реализма); «уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости...» (там же, 155); «точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (там же, 12—13).

Второе качество, обретенное Пушкиным в Михайловском, — подлинная *народность*. Ее предчувствие наполняло его и раньше — еще с детства и в лицейские времена в памяти оживали сказки, рассказанные бабушкой Марией Алексеевной и няней Ариной Родионовной, и, может быть, дядькой Никитой, который остался верным спутником поэта до самой его смерти. Но «проклятое воспитание», как в досаде не совсем справедливо выразился Пушкин, затмило ранние впечатления. В несколько облегченной форме, поверхностно народность сказалась в «Руслане и Людмиле». В Михайловском он опять слушал нянины сказки, впитывал в себя речь ярмарочных певцов и сказителей, дворовых крестьян (и крестьяночек, наверное, тоже), вчитывался в летописи и так овладел народной речью, что написанную им песню среди народных, им записанных, не мог найти сам И. Киреевский. Здесь Пушкин постиг характер русского народа, выразив его опять-таки в сжатой формуле: «... Отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный

способ выражаться...» (6, 23). Потом он дополнил и обогатил эту характеристику особенно полно и четко в статье «Путешествие из Москвы в Петербург», в которой хотел и напомнить о Радищеве, и поспорить с ним. И как точно выразил Пушкин этот характер еще там, в Михайловском, в речах Варлаама, в песнях о Стеньке Разине, впоследствии в своих сказках. Достаточно положить рядом «Илью Муромца» Карамзина, «Бову» Радищева, да и самого Пушкина, чтобы увидеть, что это «дистанция огромного размера». И почти столь же глубоко смог постигнуть наш национальный поэт дух других народов (примеры — «Подражания Корану», «Стамбул гяуры нынче славят», «Песни западных славян», переводы из Мицкевича, «Каменный гость»). Народностью пронизывается все творчество Пушкина: и «Евгений Онегин», и «Дубровский», и «Капитанская дочка», и вся лирика...⁸

Но в отличие от последующих славянофилов Пушкин никогда не идеализировал народ, с горечью сознавая его пассивность, изменчивость, внушаемость и стихийность переходов от бунтов к покорности. В словах Шуйского из «Бориса Годунова» есть и мысли самого автора:

Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага (5, 228).

Все верно. Только в отличие от Шуйского Пушкин не презирал народ и верил в его безошибочное нравственное чувство, в конечном счете решающее судьбы исторических деятелей.

«Борис Годунов» был завершен в 1825 году — незадолго до восстания декабристов. Но Пушкин мог бы предсказать его исход, потому что уже глубоко осмыслил опыт истории и современных движений Запада, которые или подавлялись, как испанская революция, или просто угасали, как движение карбонариев в Италии. И здесь, и там из-за пассивности народа. Пушкин обретал мудрость ученого, постигшего роль народа, он становился социальным мыслителем, и зрелость его мысли возрастала вплоть до последних дней его жизни благодаря постоянному умственному труду и профессиональным занятиям историка. Но при этом он оставался поэтом, способным объемно, сильно, точно воплотить мысль в образе, достигающем громадной художественной и символической силы. Таков Петр

в «Медном всаднике» — и великий деятель, прозревающий будущее и творящий его, и бездушный «истукан», «кумир на бронзовом коне», охраняющий незыблемость настоящего, неподвластный стихии, но способный укротить только бессильный индивидуальный протест Евгения⁹.

Философская глубина произведений Пушкина изумительна, но не всегда доступна — иногда из-за парадоксальной формы («зависть — сестра соревнования, следственно из хорошего роду») (7, 354), часто — из-за несравненного лаконизма, сжатости, почти предельной. Такова «Сцена из Фауста», которая не раз была объектом анализа, но ее информационная и идейная емкость до сих пор не исчерпана. Начинается «Сцена» словами Фауста: «Мне скучно, бес» — и ответом Мефистофеля: «Что делать, Фауст? / Таков вам положен предел, / Его ж никто не преступает, / Вся тварь разумная скучает...». Только ли в сухости разума дело? («Суха теория, мой друг» — Гете). Разум указывает цели, иногда пути их достижения, и в этом его сила. Но разум Фауста окован деятельной энергией Мефистофеля, который выполняет волю и замыслы своего повелителя. И не в том ли заключается наивысшее зло, творимое дьяволом, что он освобождает человека от необходимости действовать, тем самым обрекая его на скуку и на пассивность разума?

Мысль Пушкина становится все более емкой, могучей, способной схватить противоречия жизни во всей их резкости и глубине, хотя не всегда может привести их к гармонии. Это Пушкин оставлял будущему. И здесь хочется не согласиться с теми, кто видит в нем пророка, даже «Философические таблицы» обнаружили, в которых будто бы поэт предсказывает будущее России. Нет, Пушкин, если и признавал себя пророком, то лишь в библейском смысле: не предсказателем, а провозвестником истины, призванным «глаголом жечь сердца людей». Недаром он говаривал: «Ум человеческий не пророк, а угадчик». А если и пытался предсказывать, то неудачно. Таково его пророчество в разговоре с великим князем Михаилом: «...Что же значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (8, 44—45). Но дворянская революционность уже умерла. Мудрость Пушкина заключалась и в том, чтобы не пророчествовать, хотя многие следствия современных ему явлений он угадывал верно.

Мудрость поэта (назовем ее мудростью разума) становилась мудростью политика, историка, философа (хотя абстрактного философствова-

ния Пушкин не любил). Это достигалось колоссальной работой по осмыслению опыта истории, современности, друзей и врагов, среди которых были заметные исторические деятели, постоянным ростом знаний, которые сделали Пушкина одним из эрудированнейших людей своего времени. Это давалось ему не так уж легко — он же был невыездным, Европу и Америку он знал только по книгам, журналам, газетам, вдумчивым и критичным читателем которых он был, да по рассказам друзей. Но и Александр Тургенев, много ездивший и работавший во французских архивах, и иностранные посланники, с которыми много и часто беседовал Пушкин, поражались глубиной и разносторонностью знаний и зрелости мысли поэта.

Но и осмысление опыта собственной жизни играло не меньшую, а может быть, и большую роль. Еще в молодости признанный гений, Пушкин был совершенно лишен самодовольства. Благожелательный к другим поэтам, иногда даже чрезмерно, он был беспощадно требователен к себе. Случаи, когда он мог прыгать по комнате, хлопать в ладоши и кричать в упоении: «Ай да, Пушкин, ай да молодец!», были редкими. Работал он только в часы вдохновения, а не восторга, никогда не утрачивая самоконтроля, искал то единственное слово, которое могло в образе выразить мысль, не злоупотребляя при этом метафорами и прочими тропами. Эпитет Пушкина абсолютно точен и, как писал Гоголь, «так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание»¹⁰ — потому что осмыслен. Черновики свидетельствуют о том, как долго иногда искал поэт единственное слово, и рождалось оно именно вдохновением, то есть интуицией, контролируемой разумом, — «соображением понятий». Но ведь многое определялось тем громадным культурным пространством, в котором он жил, которое стало родным для Пушкина, об этом писали и Гоголь, и Достоевский, и Мережковский...

Так складывался мир дум великого поэта. Глубину их далеко не всегда удавалось постигнуть не только современникам (вспомним, как восхищался Баратынский «силой и глубиной» неопубликованных стихотворений Пушкина¹¹), но и читателям, и критикам последующих десятилетий, в том числе таким, как Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев. Одна из причин этого непонимания заключается в том, что Пушкин всегда оставался художником и не выражал свои мысли в виде деклараций или поучений. Они пронизывали художественную ткань его произведений, обретали себя в «волшебных звуках», проникая в наше сознание и подсознание (если можно так сказать о мыслях) незаметным образом: они и сейчас переживаются нами как свои...

Высочайшая требовательность Пушкина проявлялась не только по отношению к мыслям, словам, форме — она была и самокритикой чувств,

испытываемых поэтом. Ему было в высшей степени присуще чувство времени — и внешнего, в котором он жил, и внутреннего — как самодвижения своей души, соответствия чувства возрасту. Еще в Лицее, незадолго до окончания, юный поэт написал знаменательные и мудрые слова:

Все чередой идет определенной
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный (1, 211).

Тогда это было, вернее всего, интуитивное открытие, отчасти подсказанное чужим опытом. Но скоро это стало убеждением, подтвержденным собственной жизнью, восприятием его произведений публикой, осмыслением творчества друзей. Пушкин стремительно уходил от самого себя, а вместе с тем от восторговавшихся его ранним творчеством читателей, оставаясь при этом самим собой, но более глубоким, сдержанным в выражении чувств: он воспитывал в себе величайшую культуру чувства¹². Любовь, дружба, товарищество осознавались им как высшие человеческие ценности. Нет, Пушкин не становился степенным, как Вяземский или Бенедиктов, но он переставал быть ветреным. Глубочайшая сосредоточенность, благородство, чувство ответственности перед читателем проливают его любовную и дружескую лирику. Порой он был даже слишком суров к себе в своей самооценке: «Много желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования... Иное тяготее как упрек на совести моей...» (7, 131). О некоторых стихах отзывался сдержанно, признавая, что есть такие, «которые простительно мне было написать на 19 году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например, «Послание к Юрьеву»)» (там же).

Пушкин приходит с годами если не к целомудрию, то к жажде целомудрия, к молитве о нем («Отцы пустынники и жены непорочны»). И жизненная мудрость, и любовь к жене, семье, детям обязывали к сдержанности. Он еще в молодости признавал, что искусство искушать и соблазнять женщину, достигшее изощренности в XVIII веке, описанное им самим в «Онегине», там же и оценено жестко и резко: «...Эта важная забава / Достойна старых обезьян / Почтенных дедовских времян» (о том же Пушкин писал и в известном письме-наставлении брату). «Учитесь властвовать собой», — этот совет Пушкин обращал и к самому себе, правда, не всегда умея следовать ему в жизни. Но, думается, что высочайшая культура чувств, гармония чувства и мысли, достигнутая Пушкиным в жизни и выразившаяся во всей полноте и совершенстве в его поэзии, и продиктовала Гоголю его знаменитые слова: «Пушкин есть явление чрез-

вычайное», может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»¹³. Но вот двести лет истекают, а нам до высоты и благородства пушкинских чувств еще далеко-далеко.

Итак, жизнь и творчество Пушкина едины — это и предпосылка, и итог наших рассуждений. Иначе откуда бы явился в его поэзии «дух смирения, терпения, любви и целомудрия»? Его нельзя заимствовать, им можно только жить и потому вдохновляться. Он плод зрелости, мудрости, он во многом вдохновлен Евангелием — книгой, благодатную власть которой испытал на себе поэт: «... Такова ее вечная прелесть, что если мы пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие» (7, 322). И все-таки претворение жизни в творчество — это всегда чудо, подобное тому превращению крови в вино, которое описано М.Булгаковым в его «Мастере и Маргарите»: «... Что-то сверкнуло в руках Азazelло. Что-то негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду...

— Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами.

Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубашка и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде со стальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:

— Пей!

У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша оказалась уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи — она не разобрала, шепнули в оба уха:

— Не бойтесь, королева... Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья»¹⁴.

В пространстве Воланда с его пятым измерением кровь превращается в вино. Кровь — символ жизни. «Жизнь тела есть кровь его» (Лев, 17:11) — так переведен стих в современном издании Библии. Кровь — душа тела — сказано в прежнем переводе. Виноградная лоза — символ самого Христа, он говорит о себе: «Я путь, истина и жизнь». Так и в неизмеримом пространстве поэзии Пушкина проза, суэта, трепетность жизни претворяются в волшебные звуки, в свет, несущий нам истину и жизнь духа.

Глава IV

ПОЭЗИЯ И СВОБОДА: ТРАДИЦИЯ ПУШКИНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Блок. Пушкинскому Дому.

Стихотворение «Пушкинскому Дому» А.А.Блок написал в трудное для себя и России время, в 1921 году, когда развитие революции с ее жестокостью, с потоками крови, пролитой в гражданской войне, с репрессиями ВЧК со всей очевидностью показало, что новая власть делает невозможной свободу личности и, что еще страшнее для поэта, — свободу творчества. Вот тогда Блок и обратился к Пушкину, поэзия которого не только для литературы, но и для всей русской общественной мысли была символом свободы.

«Пушкин — наше все», — сказал когда-то Аполлон Григорьев, поэт и критик. «Пушкин у нас — начало всех начал», — подхватил эту мысль А.М.Горький. С Пушкина же начинается и проблема свободы творчества в русской поэзии. До него она просто не вставала. И для М.В.Ломоносова, и для Г.Р.Державина, и Н.М.Карамзина было совершенно естественным состояние придворного поэта или историографа. И это — при всей громадной независимости их мысли и чувства. Ломоносов воспевал Петра I, Елизавету, подвиги русского оружия, расцвет наук в России. Державин писал оды Фелице, под именем которой обращался к Екатерине II. Оба они считали своим долгом то дать совет властителям («истину царям с улыбкой говорить»), то даже упрекнуть их в ошибках или каких-то несправедливых решениях, но в том, что поэзия должна служить интересам государства и даже прямо выполнять заказы властителей, эти великие поэты нисколько не сомневались. Правда, и Державин, и Ломоносов отстаивали свое право на частную жизнь, которая была для них своего рода убежищем независимости и даже — юридически — реализацией «Указа

о вольности дворянства», но слишком малы были масштабы этого убежища. Поэтому и вырывались иногда у поэтов горькие строки:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: пой, птичка, пой!
Державин. «На птичку».

Но вновь приходило сознание высокой миссии поэта, который в порыве вдохновения поднимается до пророческого обретения истины, а ведь, как известно, «истина выше царя»:

Цари! — Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья, —
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Державин. «Властителям и судиям».

Однако поэзия в XVIII веке не считалась главным делом жизни: Ломоносов — ученый, академик, организатор научных исследований. Державин — губернатор и министр. Карамзин — официальный историограф. Свою поэзию они могли оценивать очень высоко. Но за что? Вот что ставил себе в заслугу Г.Державин в стихотворении «Памятник»:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

М.Ломоносов, как известно, смысл всей своей жизни видел в служении России. Подвигом Н.Карамзина было создание «Истории государства Российского».

«...ГДЕ, СКАЖИ, КОГДА БЫЛА БЕЗ ЖЕРТВ
ИСКУПЛЕНА СВОБОДА?»

Лишь со времен А.Н.Радищева и его знаменитой оды «Вольность» тема свободы как высшей ценности входит в русскую поэзию:

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О, вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.

Традиции Радищева подхватили и развили поэты-декабристы, которые видели цель поэзии в служении Отечеству, в борьбе за свободу, в гневном обличении поработителей народа. Все они по молодости лет отдавали дань любовной лирике, жизнерадостной поэзии досуга, но в зрелые годы стеснялись этих тем, считая их недостойными истинной поэзии:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя Отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

Рылеев. «К N.N.».

Искренняя, глубокая, захватывающая ум и сердце любовь к свободе породила строки громадной силы:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Рылеев. «Исповедь Наливайки».

Искренность этих стихов, написанных за год до восстания декабристов, подтверждена судьбой поэта. В них было выражено настроение многих борцов за свободу. В ночь перед выступлением юный поэт Александр Одоевский на квартире Рылеева восторженно произнес: «Мы умрем, но ах, как славно мы умрем!». Смерть за свободу казалась радостным и счастливым завершением жизни.

Одоевский не умер, он был сослан в Сибирь, на каторгу, «в мрачные пропасти земли». Но чувство гордости не оставило поэта и там:

Но будь спокоен, бард, цепями,
Своей судьбой гордимся мы

И за оковами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя...

«Наш ответ».

Любовь к свободе становилась опорой душевной стойкости, надежды, чувства собственного достоинства. Она действительно возвышала поэзию, наполняя ее общественно значимым содержанием. Но вот вопрос: делала ли такая любовь к свободе истинно свободной саму поэзию? Вспомним еще раз К.Рылеева. Посвящая поэму «Войнаровский» своему другу и единомышленнику Александру Бестужеву, он писал:

Прими ж плоды трудов моих,
Плоды беспечного досуга;
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин.

«Я не Поэт, а Гражданин» — большего самоотречения для поэта быть не может. Пушкин в письме к брату не удержался от злой иронии: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, коляями...» (10, 101). Однажды Пушкин высказался еще энергичнее: «Если ты не поэт, то и стихи писать нечего». Заметим, однако, что К.Рылеев был поэтом и поэтом талантливым, но подчинив все свое творчество идее политической свободы, он сам становился рабом этой идеи, отрекаясь от тех вечных тем, которыми жива поэзия, и часто пренебрегая формой своих произведений. А это неизбежно вело к снижению художественности, к измене высокому искусству.

Пушкин, оценивая рылеевские «Думы», тактично, но достаточно строго отметил их недостатки: «Что же сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы в «Петре в Острогжске» чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (*Loci topici*)» (10, 113). Эти *Loci topici* — чаще всего рассуждения о свободе вообще, вне конкретного исторического времени. Пушкин, работавший в те же годы (1824—1825) над «Борисом Годуновым», понимал это особенно от-

четливо. Но для Рылеева, Кюхельбекера, А.Бестужева существовала именно свобода вообще — как великий принцип, которому должно подчинить жизнь и творчество.

Декабристская традиция стала определяющей в поэзии революционных демократов. Н.А.Некрасов, прямо подхватывая идеи К.Рылеева, заявлял:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.

И, по мысли Некрасова, гражданские чувства обязывают поэта служить делу свободы народа:

Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви...
«Поэт и Гражданин».

В приведенном отрывке речь идет, конечно же, о любви к народу. То есть опять, как и у поэтов-декабристов, требуется подчинить поэзию внешней по отношению к ней цели, отвергнув при этом вечные темы искусства:

С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

И если бы это было только декларацией! Нет, эта идея становилась критерием оценки творчества любого художника, в том числе самого Н.А.Некрасова. В критических работах Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова нас поражает теперь односторонняя, неверная, поверхностная оценка творчества Пушкина. Они видели в нем только красоту формы, пафос чистой художественности, решительно отрицая ее содержательность и отдавая предпочтение более глубокой, как им казалось, поэзии М.Ю.Лермонтова. Дело было, видимо, в том, что у Лермонтова преобладал пафос отрицания «немытой России». Пушкин же казался революционно-демократическим критикам слишком гармоничным, а значит, и примиряющим с «гнусной российской действительностью».

Да и призывов к борьбе за свободу в его зрелом творчестве больше не было.

Односторонность этой позиции приводила к тому, что Чернышевский и Добролюбов недооценили поэзию А.Фета, А.Майкова, А.К.Толстого и даже Ф.И.Тютчева с его глубокими философскими прозрениями. «К топору зовите Русь!» — взывал к А.Герцену Н.Чернышевский. И по существу, это же требование он предъявлял ко всей русской поэзии. «Искусство — учебник жизни», «оно должно произносить приговор над действительностью», — вот основные тезисы его магистерской диссертации. Эта позиция привела к идейному расколу в редакции «Современника», к уходу из журнала И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова, А.А.Фета. Трещина раскола прошла по всей русской литературе.

Ограниченность такого понимания свободы и задач поэзии заключалась в том, что цель поэтического творчества искали вне ее — в сфере политики, не понимая, что всякое подчинение поэзии интересам классовой борьбы уже делает поэта несвободным. Эта традиция нашла свое логическое завершение в статье В.И.Ленина «Партийная организация и партийная литература», в которой было провозглашено, что творчество художника уже полностью подчиняется делу партии и интересам революционного пролетариата. О какой же свободе творчества может идти речь после такого заявления?

Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо.
С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
о работе стихов,
 от Политбюро,
чтобы делал
 доклады Сталин.
 В.Маяковский. «Домой».

Сталин, правда, докладов «о работе стихов» уже не делал, но за искусством следил неукоснительно, руководствуясь своим разумением и вкусом, определяя судьбы поэтов, режиссеров, художников. Доклады за него делал сначала Н.И.Бухарин, жертвой которого стало творчество С.Есенина. Потом А.А.Жданов, еще более щедрый на негативные оценки, после которых следовали оргвыводы...

Старая пословица гласит: «Благими намерениями выстлана дорога в ад». Намерения К.Рылеева, Н.Некрасова, даже Н.Чернышевского и Н.Доб-

ролюбова были самые благие. Они стремились своим творчеством ускорить освобождение народа, ждали, «когда же придет настоящий день», когда произойдет «перемена декораций»; они искренне звали поэтов к самоотречению и сами ограничивали себя в своем творчестве, считая, что грядущая всеобщая свобода будет достаточной наградой за все временные утраты. И они так же искренне не могли понять, что добровольное подчинение одной идее есть наихудший вид рабства, не могли предвидеть, к какому упадку приведет литературу это рабство.

Истинное предназначение поэта высказал в своем творчестве Пушкин.

«ИДИ, КУДА ВЛЕЧЕТ ТЕБЯ СВОБОДНЫЙ УМ»

Среди русских поэтов мало кто так ненавидел любое проявление рабства, как Пушкин. В эссе «Прогулки с Пушкиным» А.Синявский оригинально заявил, что Пушкин «вбежал в литературу на тонких эротических ножках». Это остроумно, но едва ли верно. Жанрам любовной лирики Пушкин действительно отдал дань в свои молодые годы, осваивая творческий опыт Анакреона, Парни, Батюшкова. Но известность в широких кругах он приобрел стихами яркого гражданского звучания. Уже в одном из первых опубликованных стихотворений, «Лицинию», выражено кредо юного поэта: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». А ода «Вольность», хотя и не была опубликована, разошлась в списках по всей России. Поэтому вернее было бы сказать, что Пушкин влетел в литературу на крыльях вольнолюбивой лирики. Его творчество оказало большее влияние на русскую мысль, чем вся пропаганда декабристских обеществ.

Любовь к свободе была заявлена Пушкиным сразу и очень смело. И не только в лирике. Вспомним, что герой его первой южной поэмы «Кавказский пленник» — разочарованный во всем молодой человек — воодушевлен только идеалом свободы:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,

С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал (4, 85).

В этих стихах прочитывалось отношение к свободе всех русских людей, испытавших влияние освободительной войны против наполеоновского ига и не желавших мириться с рабством собственного народа. В оде «Вольность» видели прямой призыв к восстанию:

Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы! (1, 283)

На основании таких стихов Пушкин был признан «художественным выразителем идеологии декабризма» — как самими декабристами, так и официальными советскими литературоведами 1930-х годов. Так же оценивала его и царская полиция, обнаружившая, что у каждого арестованного в связи с восстанием 14 декабря хранились вольнолюбивые пушкинские стихи.

И все-таки что-то в Пушкине наиболее последовательных декабристов не устраивало. С их стороны вызывало недоумение, упрек, а то и прямое осуждение само поведение поэта. Его ближайший друг И.И.Пушкин писал: «Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева и других: они с покровительственной улыбкою выслушивали его шутки, остроты...

Странное смещение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание»¹.

Не нравились декабристам и слишком вольные любовные стихи, которые, как им казалось, были недостойны высокого таланта поэта. Серьезным и требовательным к себе друзьям Пушкина постоянно хотелось воспитывать поэта по своему образу и подобию. Воспитывали и Пушкин, и «первый декабрист» Владимир Раевский, и А.Бестужев, и К.Рылеев. От Пушкина требовали той же подчиненности жизни и творчества делу свободы, которой отличались сами декабристы. А он не подчинялся ни этому идеалу, ни своим более зрелым, как казалось, друзьям. В жизни Пуш-

кин мог быть легкомысленным, увлекался и женщинами, и карточной игрой, и ссорами с кишиневскими боярами, и многим другим. «Спарта-нец» В.Раевский призывал Пушкина воспевать времена древней новгородской вольницы, «когда гремело наше вече» и сам народ был царем. Любовную лирику он вообще считал недостойной поэта:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой.
«К друзьям в Кишинев»

Пушкин пытался одно время следовать этим советам, даже начал поэму и трагедию «Вадим» о древнем новгородском герое и его борьбе с Рюриком, но дальше начала дело так и не пошло. И не только потому, что легендарный тираноборец был ему, с его стремительно развивающимся исторически сознанием, мало интересен, но и потому, что русскую аристократию, которую имел в виду под «чуждым племенем» Раевский, сам поэт никак не мог считать чужой для народа, так как и сам к ней принадлежал.

Суровые декабристские критики ждали от Пушкина острой сатиры на самодержавие, крепостничество, и, не найдя ее в первой главе «Евгения Онегина», А.Бестужев осудил роман за ничтожество главного героя. Пушкин не без раздражения возражал: «Твое письмо очень умно, но все-таки ты неправ, все-таки ты смотришь на «Онегина» не с той точки... Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и помину нет в «Евгении Онегине». У меня затрещала бы набережная, если б коснулся я сатиры. Самое слово сатирический не должно находиться в предисловии» (10, 104).

Вообще очень скоро выяснилось, что пушкинское понимание свободы и тем более задач поэзии было не только более широким, чем декабристское, но и просто иным. Пушкин хотел быть свободным от всякой предвзятой идеи, какой бы возвышенной она ни была. Он был «врагом стеснительных условий и оков» и путь к духовной свободе видел в высокой культуре, образованности, в полной независимости от всяких влияний, в глубоком размышлении обо всех впечатлениях бытия:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;

Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне (2, 47).

Эти строки содержатся в послании Чаадаеву, но они кажутся ответом и В.Раевскому на приведенные выше стихи. Что же это за свобода, в объятиях которой поэт ищет вознаграждения? Это свобода быть самим собой, в наибольшей мере реализовать все, что дано человеку природой. Исследователь биографии и творчества Пушкина очень точно заметил: «Как там ни говори о человеке, первейшая и главнейшая обязанность человека оставаться всегда человеком. Исходная точка: человеческая природа вечно обнаруживает в себе свое несовершенство, но тем обязательнее для человека отстаивать верность своему человеческому назначению. Значит — непрестанно спрашивать с себя, проявлять непримиримость к своему несовершенству. Без постоянного ощущения своего несовершенства мы бы прекратили всякие размышления о необходимости его преодоления. Истинно совершенен тот, кто вечно занят освобождением от несовершенства. Вот как раз таким был Пушкин»².

Пушкин очень рано понял свое предназначение. Еще в Лицее он написал:

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть! (1, 401)

Здесь замечательны и желание величия во имя чести России, и самоирония, снимающая чрезмерную пафосность высказывания, и, может быть, осознание поэтом трудности поставленной перед собой задачи.

При всем кажущемся легкомыслии поведения Пушкин сознавал свою ответственность перед собственным дарованием. Благодаря «тихому труду» он действительно встал «с веком наравне». Еще в детстве в совершенстве овладев французским языком, в Лицее он изучил греческий, латынь и несколько хуже даже нелюбимый им немецкий, а потом еще 10 языков, в том числе целый ряд славянских. И это позволяло ему свободно чувствовать себя в любой культуре. Пушкину в равной мере были доступны величие Библии и Корана, гармония античной литературы, блестящее и легкое остроумие французских поэтов и философов, психологическая глубина, жизненная сила драматургии Шекспира... Он свободно переносился через пространство и время, везде чувствуя себя не гостем, а хозяином.

Всей душой сочувствуя декабристам, восхищаясь их благородством и мужеством, готовностью умереть во имя свободы, Пушкин все же никогда не отождествлял себя с ними, сохраняя свою независимость. В литературе не раз обсуждался вопрос о том, почему он не был принят в тайные общества. Объясняли по-разному: и полицейской слежкой за поэтом, и недоверием к серьезности его, и стремлением уберечь поэта от возможной кары. Но, видимо, главное-то было именно в независимости его мыслей и поведения. И на самом деле: еще до восстания Пушкин понял и бесперспективность любых освободительных движений, совершаемых в отрыве от народа, и неготовность народов к борьбе за свое освобождение.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды... (2, 145)

В годы же после восстания, обратившись к истории, Пушкин пришел к выводу о невозможности революции в России и все надежды на будущее возлагал на прогресс просвещения. Изучив крестьянскую войну под руководством Пугачева, он дал классически ясную и точную формулировку: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (6, 349).

И вместе с тем история дала Пушкину великолепное чувство гордости Родиной, несмотря на все унижения и падения, которые пережил наш народ: «... Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (10, 689). Вот эта великолепная образованность, высокая просвещенность, глубокий историзм и стали основой свободной мысли Пушкина, ее независимости от чужих мнений, кому бы они ни принадлежали.

Другой опорой независимости было происхождение Пушкина, который гордился своим шестисотлетним дворянством, замечая а прогос: «Мое дворянство древнее». Теперь мы знаем, что оно тысячелетнее: он Рюрикович. Этот вывод любителя-исследователя А.А.Черкашина принят официальным пушкиноведением³.

Это происхождение имело для Пушкина принципиальное значение, и он сам объяснил, почему, в письме к А.Бестужеву: «Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Ворснцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!» (10, 15).

Сознание своей сопричастности к великим предкам, а через них — ко всей истории России позволяло Пушкину вести себя на равных даже с царями и великими князьями. При первом приеме Николаем Пушкина, вызванного из ссылки, царь был шокирован поведением поэта, который вел себя настолько свободно, что даже присел на край стола.

А как же быть тогда со знаменитыми «Стансами»? Ведь даже ближайшие друзья восприняли это стихотворение как измену прежним убеждениям и форму лести. На это ответил сам Пушкин в стихотворении «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

<...>

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу;
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу (3, 47—48).

В.Непомнящий объясняет появление стихотворений «Стансы» и «Друзьям» тем разговором, который состоялся при встрече поэта с царем. Он предполагает, что Николай обещал Пушкину скорое освобождение декабристов, сосланных в Сибирь. Об этом и напоминает сравнение царя с его пращуром Петром I:

...Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой...

<...>

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:

Как он неутомим и тверд
И памятью, как он, незлобен (2, 307).

С этим обещанием царя В.Непомнящий связывает и последнюю строфу знаменитого «Послания в Сибирь»⁴:

Оковы тяжкие падут, —
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут (3, 7).

«Оковы падут» не в результате нового победоносного восстания, которое, как понимал поэт, было совершенно невозможно, а в результате выполнения царского обещания, и меч здесь — символ возвращенного дворянского достоинства. Но обещание так и не было выполнено. И это привело к разочарованию в царе. На первых же порах уважение к нему было искренним и глубоким.

Но главная опора независимости Пушкина — это его «своенравный гений», который был подвластен только вдохновению. А вдохновение произвольно, оно не поддается ничьей воле, иногда даже воле самого художника. Это «расположение души к живейшему принятию впечатлений, соображению понятий, следственно, и объяснению оных» (7, 41). Оно представляет собой акт художественного мышления, поэтому и приходит только тогда, когда накоплено множество впечатлений, доступных воображению и осмыслению. Вдохновение есть высшее проявление свободы творчества.

Но вот парадоксальная ситуация из повести «Египетские ночи». Здесь импровизатор-итальянец создает на заданную тему гениальные стихи о свободе творчества.

«Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его...» (6, 249—250).

Чарский поражен: «Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?..» (6, 251).

Казалось бы, какая ирония! Можно ли говорить о свободе творчества, если стихи об этой свободе создаются под влиянием чужой воли? Как легко здесь увидеть отрицание свободы творчества, признание зависимо-

сти поэта от общества, от власти, от общего мнения. Но ведь стихи, созданные итальянцем, действительно гениальны. Пушкин вложил в его уста мысли, к которым сам обращался много раз и всегда именно для того, чтобы показать независимость поэта:

Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего (6, 250).

Да, тема задана извне, но отзвук в душе поэта она находит только тогда, когда уже есть переполненность впечатлениями и внутренняя потребность творчества, когда эта тема уже созрела в подсознании, когда она «трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявлением» («Осень»). Так струна резонирует только в ответ на звук, соответствующий ее высоте. Импровизатор мог почти мгновенно откликнуться на волю Чарского потому, что сам был убежден в собственной свободе. Получается прямо-таки гегелевская триада: тезис — поэт свободен, антитезис — вдохновение подвластно чужой воле, синтезис — истинное вдохновение всегда свободно, чем бы и как оно ни было вызвано. Нужна была поистине пушкинская свобода, чтобы таким парадоксальным образом доказывать свободу творчества.

Однако осуществить свободу творчества поэту было совсем нелегко. Трагическая сторона жизни Пушкина заключалась в том, что он никогда не знал внешней свободы, кроме, может быть, короткого периода между окончанием Лицея и южной ссылкой. В Лицее он находился под контролем, хотя и доброжелательным, профессоров и воспитателей, а затем, начиная с первых же лет ссылки, под полицейским надзором. Освобожденный Николаем I, он удостоился высокой чести: царь сам вызвался быть его цензором, сам читал некоторые его произведения, забыв, впрочем, освободить Пушкина от обычной цензуры. Поэт не имел права выехать из Петербурга без разрешения властей, не мог оставить осточертевшую ему службу и снять оскорбительный для него мундир камер-юнкера. Но самое трудное для Пушкина было то, что и власти, и друзья-доброжелатели, и продажные журналисты, вроде Булгарина, пытались диктовать ему темы и задачи его поэзии. Когда он сбежал на Кавказ, тот же Булгарин писал: «Мы думали, что автор «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги

русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись»⁵.

Булгарин ошибся не вполне: подвигов русского оружия на Кавказе Пушкин действительно не воспел, но произведения высокого поэтического достоинства написал. Но ждали-то от поэта именно воспевания подвигов. И ждал не один Булгарин: за ним стояли и главнокомандующий русскими войсками Паскевич, и Бенкендорф, и сам царь. Но на этот заказ не отзывалась ни одна струна в душе поэта.

Всех этих критиков, доброжелателей, непрошенных советчиков Пушкин заставил в стихотворении «Поэт и толпа» дать такую самохарактеристику:

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем холодные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы слушаем тебя (3, 86).

В.С.Соловьев комментирует: «Последний стих даже по форме выражения есть явная ирония и насмешка: ты, мол, поговори, а мы тебя послушаем... На лживый, лицемерно наглый вызов «черни» отвечает благородный и правдивый гнев поэта:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!»⁶

У Пушкина всегда вызывало негодование или, по крайней мере, недоумение требование от поэзии какой-то внешней цели: «Ты спрашиваешь, какая цель у “Цыганов”? вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все невпопад», — писал он В.А.Жуковскому (10, 112). «Думы» целили невпопад именно потому, что были средством пропаганды уже готовой идеи, а не мысли, рожденной самой поэзией.

«Цель поэзии — поэзия». Но что такое поэзия в понимании Пушкина? Об этом можно спорить и спорят давно и многие. Нам ближе всего понимание пушкинской поэзии Б.Бурсовым и В.Непомнящим. По Бурсову,

поэзия — это дисгармония мира, преображенная в гармонию воображением поэта⁷. А В.Непомнящий пишет об удивительном распределении света и тени в поэзии Пушкина — таком распределении, когда восприятие каждой тени заставляет ощутить породивший ее свет. «... Для него бытие есть безусловное единство и абсолютная целостность в которой нет ничего “отдельного”, “лишнего” и самозаконного — такого, что нужно было бы для “улучшения” бытия отрезать и выбросить»⁸.

То есть тоже гармония — мысль та же, что у Б.Бурсова, хотя и выражена иначе. Превращение дисгармонии мира в гармонию художественной реальности и есть сущность поэзии.

А что дает нам, читателям, такая поэзия? Гармонию в нашей собственной душе, возвышение нашего духа до осознания трагически противоречивой красоты мира. И тогда мы откликаемся на слова поэта:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв (3, 86).

Сколько гневных осуждений вызвали эти стихи у всех наших демократов, даже у сурового наставника нравственности Л.Н.Толстого! А ведь в них выражено то, что можно назвать единственной целью поэзии. Так понять значение и сущность поэзии мог только истинно свободный человек, осознавший независимость поэта от всяких внешних сил, от требований, провозглашаемых от имени общества. В стихотворении «Из Пиндемонти» Пушкин высказывает свои заветные мысли, которые звучат совершенно еретически с точки зрения любой официальной идеологии (царистской или большевистской — все равно):

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи... (3, 336)

Интересно, что уже в черновике Пушкин исправил «зависеть от царя» на «зависеть от властей» — и только ли ради цензуры? Может быть, ради обобщения? Тогда это стихотворение становится манифестом свободы творчества для любой эпохи.

И революционно-демократических критиков, и советских литературоведов всегда смущали или даже возмущали слова «зависеть от народа». Еще бы! Ведь служение народу почиталось высшей целью поэзии. Но прав Б.Бурсов, когда он пишет: «Но кто посмеет сказать, что, отклоняя зависимость и от царя, и от народа, Пушкин ставит знак равенства между царем и народом? Тут дело в другом, — для него вообще нет такой зависимости, которую признал бы он обязательной. В принципе он не согласен ни с какой зависимостью. Даже если бы она исходила и от него самого. Он пишет по вдохновению, а не по заказу. А вдохновение художника — высшая человечность»⁹.

Итогом глубоких размышлений Пушкина о свободе творчества можно считать сонет «Поэту»:

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум... (3, 165)

Этой свободы Пушкин не уступал никому. Даже указания своего царственного цензора он вежливо, но твердо игнорировал. Царь посоветовал ему переделать «Бориса Годунова» в исторический роман на манер Вальтера Скотта — Пушкин даже не притронулся к рукописи. Николай пожелал, чтобы из поэмы «Медный всадник» были вычеркнуты такие слова, как «истукан» и «кумир», — Пушкин положил рукопись поэмы в стол, и она была опубликована только после его смерти с исправлениями В.Жуковского.

Итак, будучи политически несвободным, Пушкин полностью сохранил независимость мыслей и творчества. Он мог написать жене неожиданную фразу: «Без политической свободы жить очень можно» (10, 379), — именно потому, что сумел сохранить «свободный ум».

Но была еще несвобода, преодоление которой давалось Пушкину не всегда легко: несвобода от собственных предрассудков, привычных суждений, легкомыслия, пороков и ошибок юности. В 1836 году он написал небольшое четверостишие, поражающее своей откровенностью:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий (3, 335).

И разве не о том же, только иначе, сказано в знаменитом стихотворении «Поэт», где Пушкин говорит о том, что погруженный в «заботы суетного света» поэт может быть ничтожней всех ничтожных детей мира? А в стихотворении «Воспоминание» он признается:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю (3, 57).

Но прав А.Синявский (Абрам Терц): «Пушкин (страшно сказать!) воспроизводит самооценку святого. Святой о себе объявляет в сокрушении сердца, что он последний грешник... Это не скромность и не гипербола, а реальное прикосновение святости, уже не принадлежавшей человеку, сознающему ничтожность сосуда, в который она влита»¹⁰.

Стихотворение «Воспоминание» действительно написано по модели жития, в котором духовный перелом и обращение к истинному Богу начинается с горького покаяния. И это не случайное совпадение: юношеские насмешки над тайнами «непорочного зачатия» у зрелого Пушкина сменились глубокими и мудрыми размышлениями о Христе, о высоком нравственном содержании христианства. Но и в отношении своем к религии поэт оставался свободным, далеким от ортодоксии, и покаяние его очень далеко от свойственного многим героям житий самоуничтожения. Даже самые горькие воспоминания Пушкин превращал в светлый мир своей поэзии, тем самым возвышаясь над личной слабостью и находя силы для духовного совершенствования в своей собственной душе. И поэтому поэзия была для него «выше нравственности» (7, 380). И, может быть, это и есть высшая мера свободы.

«ПОЭТ ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ, КОГДА ШУМИТ ГРОЗА»

Так в русской поэзии сложилась традиция свободы и независимости художника. Не означает ли это, что она ведет поэта к антиобщественной позиции, к полному равнодушию к социальным проблемам, к судьбам народа и Отечества? Думая так, революционно-демократические критики активно боролись с так называемым чистым искусством, которое игнорировало острую социальную проблематику и обращалось к таким вечным темам, как природа и любовь. Н.А.Добролюбов, например, писал: «Без живого отношения к современности всякий, даже самый симпатичный и талантливый, повествователь должен подвергнуться участи г.Фета,

которого и хвалили когда-то, но из которого теперь только десяток любителей помнят десяток лучших стихотворений»¹¹.

Для нас ошибка Добролюбова очевидна: Фет остается одним из любимых поэтов в России. А такого талантливого поэта, как А.К.Толстой, революционно-демократические критики почти проигнорировали, хотя каждой второе его стихотворение стало романсом, а с постановки «Царя Федора Иоанновича» началась блестящая история МХАТа.

Но было ли когда-нибудь это чистое искусство? Или это только ложное наименование искусства, творцы которого открыто заявляли о своей независимости от злобы дня, от всяких внешних влияний на их творчество? Всегда опасно объединять художников, особенно талантливых, в какие-то школы и направления, потому что каждый поэт неповторим. Но попробуем обратиться к творчеству поэта, принадлежность которого к чистому искусству не вызывала сомнения и который поэтому был признан «второстепенным», — к А.К.Толстому.

В ряде своих произведений он открыто и даже демонстративно заявлял о независимости и свободе художника. В поэме «Иоанн Дамаскин» находим следующее признание:

«О верь, ничем тот неподкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому Господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы.
То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я сдержать желанье:
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!»

Поэма эта в высшей степени автобиографична: как Иоанн был любим калифом, так А.К.Толстой был любим Александром II, с которым вместе воспитывался; поэт также занимал крупный пост в придворной иерархии, мог сделать головокружительную карьеру, но, как Иоанн, отпросился на свободу и только тогда почувствовал себя счастливым.

Поэт не присоединился ни к одному из борющихся в то время социально-политических направлений, и это позволило ему сохранить полную независимость, замечать и осмеивать односторонность и ошибки и либе-

ральных, и реакционных, и революционно-демократических кругов. А.К.Толстой очень точно сам написал об этом:

Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими — досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

Независимая позиция, стремление грести «против течения» позволили поэту выступить и против крайностей нигилизма («Баллада с тенденцией»), и против самовластия самодержавия («Русская история от Гостомысла до Тимашева»). А его «Сон Попова», блестящая сатира, направленная против всеисилия жандармов, читается так актуально, как будто написана в недавние времена памятной всем советской действительности.

Противник революционной демократии, А.К.Толстой способствовал освобождению Т.Шевченко и пытался добиться прощения Чернышевского царем. Эта независимость привела к тому, что доставалось поэту от сторонников обоих станов. В «Литературной исповеди» он писал: «Чтобы дать вам вкратце понятие о моем положении в нашей литературе, я могу сказать, не без некоторого удовольствия, что я преследуем одними и любим другими. Еще курьезный факт: — между тем как одни считают меня ретроградом, административные власти видят во мне чуть не революционера»¹².

Как видим, позиция независимости от борющихся сторон требовала мужества и принципиальности. Но ясно, что внутренняя свобода отнюдь не означала безразличия к судьбам родины — просто художник сохранял за собой право выбора собственной позиции, глубоко личной оценки происходящих событий. Даже Ф.Тютчев, принципиально отделявший свою официальную жизнь дипломата и цензора от поэтического творчества, откликался на судьбоносные для его родины события страстными, хотя не всегда удачными в художественном отношении стихами. Н.Я.Берковский писал: «Тютчев по собственному почину устанавливает, что именно несет на себе печать возвышенного, и возвышенными у него оказываются существенное содержание жизни, ее общий пафос, ее главные коллизии, а не те принципы официальной веры, которыми воодушевлялись старые одические поэты... Только в своей политической поэзии Тютчев зачастую возвращался к официальным догмам, и именно это наносило

вред ей»¹³. Но не откликнуться на большие проблемы политической жизни поэт все равно не мог.

Нет, стремление к свободе не делало русских поэтов равнодушными и немymi свидетелями происходящих в мире явлений. Поэт, лишенный отзывчивости, вообще не поэт. Но позиция независимости позволяла художникам сохранять творческую индивидуальность, «свободный ум», создавать свой неповторимый художественный мир. Когда раздавался «заветный зов трубы», каждый поэт сам выбирал свою позицию в борьбе. Иногда ошибочную, трагическую, но свою. Гордая независимость была свойственна и А.Блоку, и Б.Пастернаку, и А.Ахматовой. Они всегда были с народом в годы его испытаний. Но быть с народом для этих поэтов не значило «зависеть от народа» и тем более от властей. Подобно Пушкину, они сумели сохранить «непреклонность и терпенье гордой юности». Их творческая судьба доказывает плодотворность пушкинской традиции в русской литературе. Недаром в годы испытаний они вспоминали «веселое имя — Пушкин».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА I

- ¹ См.: *Челышев Е.П.* Пушкиноведение: итоги и перспективы // Москва. 1995. № 6. С. 119.
- ² *Федотов Г.П.* Пушкин и освобождение России // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 2. СПб., 1992. С. 129.
- ³ См.: Венок Пушкину. Из поэзии первой эмиграции. М., 1994.
- ⁴ *Ильин И.А.* Пророческое призвание Пушкина // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6: Кн. 2. М., 1996. С. 37.
- ⁵ Там же. С. 67.
- ⁶ *Пушкин А.С.* О народности в литературе // Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Т. 7. Л., 1978. С. 28—29. В дальнейшем все цитаты из произведений А.С.Пушкина приводятся по этому изданию в тексте с указанием в скобках соответствующих тома и страницы.
- ⁷ *Ильин И.А.* Россия в русской поэзии // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. С. 223.
- ⁸ Русская старина. 1890. № 9. С. 453.
- ⁹ *Флоровский Г.В.* Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 57.
- ¹⁰ *Франк С.Л.* Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 452—464.
- ¹¹ *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. Избранные страницы. М., 1989. С. 473—474.
- ¹² См.: А.С.Пушкин: путь к Православию. М. 1996.
- ¹³ *Ильин И.А.* Пророческое призвание Пушкина. С. 50.
- ¹⁴ Прот. *Иоанн (Восторгов)*. Вечное в творчестве поэта // А.С.Пушкин: путь к Православию. С. 174.
- ¹⁵ См.: *Гершензон М.* Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике. С. 219.
- ¹⁶ См.: А.С.Пушкин: путь к Православию. С. 285—294.
- ¹⁷ Бицлли П. Пушкин и Николай I // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. М., 1998. С. 131.
- ¹⁸ Прот. *Иоанн (Восторгов)*. Вечное в творчестве поэта. С. 177.
- ¹⁹ См.: *Марьянов Б.М.* Крушение легенды: Против клерикальных фальсификаций творчества А.С.Пушкина. М. 1985.; А.С.Пушкин. Стихи не для дам /Сост. А.С.Пьянов. М. Интерлист, 1994.; Мадорский А. Сатанинские зигзаги Пушкина. М., Поматур, 1998. К этому следует добавить несколько переизданий кн. Б.Губера Донжуанский список Пушкина.
- ²⁰ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Избранные страницы. С. 517.

ГЛАВА II

- ¹ См.: *Анастасий (Грибановский), митр.* Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви. М., 1991; *Антоний (Храповицкий), митр.* О Пушкине. М., 1991.
- ² См.: *Сурат И.З.* Жизнь и лира. О Пушкине: Статьи. М., 1995.
- ³ Цит. по: Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Вып. 9. Рига; М., 1995—1996. С. 63.
- ⁴ *Бочаров С.Г.* О чтении Пушкина // Новый мир. 1994. № 6. С. 242, 245.

⁵ См.: *Вересаев В.* В двух планах: Статьи о Пушкине. — М., 1929. Или: *Он же.* Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 265—295.

⁶ *Гершензон М.О.* Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 212.

⁷ См. по этому поводу одну из самых основательных современных работ: *Мальчукова Т.Г.* О сочетании античной и христианской традиций в лирике А.С.Пушкина 1820—1830-х гг. // *Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр.* Петрозаводск, 1994. С. 84—130.

⁸ *Непомнящий В.С.* Вступительное слово к Пушкинским чтениям (17 февраля 1992 года) // Пушкинская эпоха и христианская культура. СПб., 1993. Вып. 1. С. 63.

⁹ *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1994. С. 60, 61.

¹⁰ См.: *Якобсон Р.О.* Работы по поэтике. М., 1987. С. 145—180.

¹¹ О духовном развитии героев в пушкинском романе см. замечательную статью: *Грехнев В.А.* Эволюция Онегина как филологический миф // *Болдинские чтения.* Н.Новгород, 1994. С. 95—103.

¹² См.: *Кошелев В.А.* Евангельский «календарь» пушкинского «Онегина»: (К проблеме внутренней хронологии романа в стихах) // *Евангельский текст в русской литературе...* Петрозаводск, 1994. С. 131—150.

¹³ См.: *Непомнящий В.С.* Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. С. 310—315.

¹⁴ См.: *Киреевский И.В.* Нечто о характере поэзии Пушкина // *Избр. статьи.* М., 1984. С. 38.

¹⁵ *Лесскис Г.А.* Пушкинский путь в русской литературе. М., 1993. С. 173.

¹⁶ *Юркевич П.Д.* Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 94.

¹⁷ «... это — вызов Богу, являющийся одним из тех религиозно-психологических экспериментов, которые впоследствии с большей резкостью и во множестве покажут нам герои Достоевского» (*Штейн С.* Пушкин мистик: Ист.-лит. очерк. Рига, 1931. С. 28).

¹⁸ *Ходасевич В.* «Гавриилиада» // Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С. 170.

¹⁹ Там же. С. 171.

²⁰ *Мейер Г.* «Бунтующие» герои Пушкина // «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин. М., 1998. С. 387.

²¹ *Кислицына Е.Г.* К вопросу об отношении Пушкина к религии // Пушкинский сборник / Памяти проф. С.А. Венгерова. Пушкинист. Вып. 4. М.; Пг., 1922. С. 269.

²² *Франк С.* Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 387.

²³ *Гиппиус Вл.В.* Пушкин и христианство. Пг., 1915. С. 29.

²⁴ *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 471.

²⁵ *Гиппиус Вл.В.* Пушкин и христианство. С. 36.

²⁶ *Боткин В.П.* Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 243—244.

²⁷ *Зеньковский В.В.* Памяти А.С. Пушкина // «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин. М., 1998. С. 185.

²⁸ *Ильин В.Н.* Мудрость скуки и раскаяния // «В краю чужом...». С. 391.

²⁹ *Гиппиус Вл.В.* Пушкин и христианство. С. 10.

³⁰ *Бочаров С.Г.* О чтении Пушкина. С. 242.

³¹ *Гиппиус Вл.В.* Пушкин и христианство. С. 10.

³² *Зеньковский В.В.* Пушкин (Из цикла «Философские мотивы в русской поэзии») // «В краю чужом...». С. 339.

³³ *Франк С.* Религиозность Пушкина. С. 381.

- ³⁴ Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 136.
- ³⁵ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 40.
- ³⁶ См.: Васильев Б.А. Духовный путь Пушкина. М., 1994. С. 176—192.
- ³⁷ См.: Гаспаров М.Л. «Снова тучи надо мною...»: Методика анализа // Избр. тр. Т. 2: О стихах. М., 1997. С. 9—20.
- ³⁸ См.: Сайтанов В.А. Третий перевод из Саути // Пушкин: исследования и материалы. Т. 14. Л., 1991. С. 97—120.
- ³⁹ Старк В.П. Стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны...» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 10. Л., 1982. С. 203.
- ⁴⁰ Сураг И.З. Жизнь и лира. С. 165, 168.
- ⁴¹ Лепехин В. «Отцы пустынноики и жены непорочны...»: (Опыт подстрочного комментария) // А.С. Пушкин: Путь к Православию. М., 1997. С. 250.
- ⁴² См.: Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина. М., 1984. С. 346—347.
- ⁴³ Цит. по: Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. Спб., 1998. С. 419.
- ⁴⁴ См.: Кулешов В.И. А.С.Пушкин и христианство // Русская литература XIX века и христианство. М., 1997. С. 12—13.
- ⁴⁵ Цит. по: Разговоры Пушкина: Репринт. воспроизведение изд. 1929 г. М., 1991. С. 278.
- ⁴⁶ Сураг И.З. Жизнь и лира. С. 164.
- ⁴⁷ Ремизов А. Живой воды // «В краю чужом...». С. 323.
- ⁴⁸ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 160, 183.
- ⁴⁹ Достоевский Ф.М. О русской литературе. М., 1987. С. 301, 315.
- ⁵⁰ Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992. С. 402.
- ⁵¹ Терц А. (Синяевский А.Д.). Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1992. С. 346.
- ⁵² Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. 6. С. 158.
- ⁵³ Зайцев К. Пушкин как учитель жизни // «В краю чужом...». С. 122.
- ⁵⁴ Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. 7. С. 260.

ГЛАВА III

¹ Некий профессор Я.В.Минц, достойный предшественник Мадорского, не зная, что слово «разврат» в те времена означало политическую пропаганду, воспринял эти слова буквально и объявил Пушкина сексуальным маньяком. См.: Архив гениальности и ода-ренности (эвропатологии). Свердловск, 1925. Вып. 2. Т. 1.

² См. воспоминания М.Корфа и П.Вяземского.

³ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 5. С. 108

⁴ См. полемику П.Щеголева с В.Вересаевым: *Щеголев П.Е.* Пушкин и мужики. М., 1928. С. 7—57.

⁵ Кроме пушкинских стихов, рядом с «А.П.Керн», на мой взгляд, можно поставить «Средь шумного бала» А.К.Толстого, «Я встретил Вас» Ф.И.Тютчева и еще несколько дру-гих.

⁶ В адресате последнего П.Е.Щеголев сомневался, потому что «в рукописи начальные стихи первоначально читались: Для берегов чужбины дальней / Ты покидала край род-ной» (3, 457). Но ведь были переделаны эти строчки именно по отношению к судьбе Ама-лии Ризнич.

⁷ Очень редко: Пушкин любил простую пищу (гречневую кашу, печеный картофель), да и готовить изысканные блюда было некому.

⁸ См.: *Томашевский Б.В.* Пушкин и народность // Томашевский Б.В. Пушкин: работы разных лет. М., 1990.

⁹ Необычную интерпретацию финала «Медного всадника» дает Г.Красухин: *Красухин Г. Покой и воля.* М., 1987. С. 161—177.

¹⁰ *Гоголь Н.В. О литературе.* М., 1952. С. 42.

¹¹ *Друзья Пушкина.* М., 1986. Т. 2. С. 56—57.

¹² Самовоспитание Пушкина наиболее полно раскрыто в книгах: *Бурсов Б. Судьба Пушкина.* Л., 1989. *Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография // Лотман Ю.М. Пушкин.* СПб., 1995.

¹³ *Гоголь Н.В. О литературе.* С. 40.

¹⁴ *Булгаков М. Мастер и Маргарита.* М., 1989. С. 270—271.

ГЛАВА IV

¹ *Луцин И.И. Записки о Пушкине. Письма.* М., 1988. С. 58.

² *Бурсов Б. Судьба Пушкина: Роман-исследование.* Л., 1985. С.366.

³ См.: «Таблица Родословие А.С.Пушкина» / Сост. А.А.Черкашин // *Временник Пушкинской комиссии.* Вып. 24. Вкладка. Л., 1991.

⁴ См.: *Непомнящий В. Поэзия и судьба.* М., 1987.

⁵ Цит. по: *Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа.* М., 1990. С. 207.

⁶ *Соловьев В.С. Литературная критика.* М., 1990. С. 267—268.

⁷ См.: *Бурсов Б. Судьба Пушкина.* Гл.2.

⁸ *Непомнящий В. Пророк // Пушкинист.* М., 1989. С. 197.

⁹ *Бурсов Б. Судьба Пушкина.* С. 362—363.

¹⁰ *Терц А. Прогулки с Пушкиным // Вопр. лит.* 1991. № 9. С.154.

¹¹ *Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? // Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 182—183.*

¹² *Толстой А.К. Полн. собр. соч.* СПб., 1903. Т.1. С.26.

¹³ *Берковский Н.Ф. Ф.И.Тютчев // Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихов.* Л., 1987. С. 12.

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ПУШКИНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с годами,
Спадают ветхой чешуей;
Создание гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

1819

МУЗА

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой, и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

1821

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Добра чужого не желать
Ты, Боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь —
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На всё спокойно язираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, —
О Боже Праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

1821

* * *

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи.

1822

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.
Неистощимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновение презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

1823

* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремящими да бич.

1823

ИЗ ЦИКЛА «ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ»

V

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

Зажег Ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; Он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насыляет тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

VII

Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!

1824

К***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь

1825

* * *

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день
И двинется ночная тень.

1825

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

1826

СТАНСЫ

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

1826

АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон, мрачный и мятежный,
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, — он рек, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал».

1827

ПОЭТ

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

1827

19 ОКТЯБРЯ 1827

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

1827

ДРУЗЬЯМ

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье;
Освободил он мысль мою,
И я ль в сердечном умиленье
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный.
Он скажет: просвещения плод —
Разврат и некий дух мятежный.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

1828

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

(Окончание стихотворения в рукописи)

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу моему наносит холодный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

1828

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

ЭПИТАФИЯ МЛАДЕНЦУ

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

1828

* * *

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то нежностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829

* * *

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

1830

* * *

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

1830

ПОЭТУ

СОНЕТ

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

1830

МАДОННА

СОНЕТ

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моем, среди медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

1830

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильнее.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

1830

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья;

Смиренная, одетая убого,
Но видом величаясь жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса,
Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни слова.

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Все — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —

Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений темный голод
Меня терзал. Уныние и лень
Меня сковали — тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

1830

* * *

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнания
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,

В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

1830

* * *

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампы
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

1831

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831

* * *

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

1834

* * *

Чудный сон мне Бог послал:
С длинной белой бороною,
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Путник, ляжешь на ночлеге,
В пристань, плаватель, войдешь,
Бедный пахарь утомленный,

Отрешишь волов от плуга
На последней борозде.
Ныне грешник тот великий,
О котором предвещанье
Слышал ты давно —
..... Грешник долгожданный
Наконец к тебе придет
Исповедовать себя
И получит разрешение,
И заснешь ты вечным сном».
Сон отрадный, благовещий —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечная страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. — Кто там идет?..

1835

МИРСКАЯ ВЛАСТЬ

Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли, бледные, две слабые жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитесь воров или мышей? —
Иль мните важности придать Царю Царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,

Христа, предавшего послушно плоть Свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

1836

(ПОДРАЖАНИЕ ИТАЛИЯНСКОМУ)

Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей
смердной
И бросил труп живой в гортань геенны голодной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

1836

* * *

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

1836

(ИЗ ПИНДЕМОНТИ)

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, *слова, слова, слова*. *
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданиями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиления.
— Вот счастье! вот права...

1836

* * *

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

* Hamlet (Примеч. А.С.Пушкина)

* * *

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолее,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

Но как же люблю мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

1836

* * *

Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

1836

*Подборка стихотворений сделана
В.И.Копаловым, О.В.Зыряновым.*

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

АГНОСТИЦИЗМ — философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности. Исходит из противопоставления опыта и реальности, видимости и сущности, «вещи в себе» и «вещи для нас».

АКСИОЛОГИЯ — философское учение о природе ценностей, а также об их связи со структурой личности. Представляя идеальное бытие, бытие нормы, определенный тип ценностных ориентаций каждый раз определяет соответствующий тип личности.

АНТИКЛЕРИКАЛЬНЫЙ — направленный против церкви и ее служителей (см. также *вольтерьянство*).

АНТОЛОГИЯ — сборник избранных произведений, преимущественно стихотворений, разных авторов.

АНТРОПОЛОГИЯ — философская концепция, в центре которой стоит понятие «человек» и связанная с ним система ценностей. Реализуется в творчестве писателя в виде концепции личности и составляет основу его художественной картины мира.

АПОФФЕГМА (или апофтегма) — краткое остроумное и поучительное изречение, афоризм.

АРХЕТИП — изначальные, врожденные психические структуры, первичные схемы образов фантазии, содержащиеся в так называемом коллективном бессознательном; лежат в основе общечеловеческой символики, выявляются в мифах и сновидениях, формируют активность воображения и находят отражение в произведениях индивидуального творчества.

АТЕИЗМ — система философских воззрений и научных взглядов и убеждений, отвергающая всякие религиозные верования; безбожие.

АФОРИЗМ — изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную законченную мысль.

ВЕРА РЕЛИГИОЗНАЯ — центральная мировоззренческая позиция и психологическая установка верующего человека, предполагающая личное доверие к Богу, что выражается в формах служения Богу и упования на Него.

ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО — система философских взглядов Вольтера (1694—1778), отличающаяся ярко выраженным *антиклерикализмом* (критикой церкви) и *деизмом*. Пушкин писал о «разрушительном гении» Вольтера, который «все высокие чувства, драгоценные человечеству» принес «в жертву смеху и иронии», обругал «святинку обоих Заветов» (7, 214).

ГЕДОНИЗМ — этическое учение, согласно которому наслаждение (чувственное или духовное) есть высшее благо, мотив и цель всех поступков. Основоположителем гедонизма считается Аристипп (греческий философ, ученик Сократа).

ГЕОПОЛИТИКА — область научного знания, связанная с анализом географического фактора (территория, положение страны, климат и др.), для обоснования национальных интересов государства, его внешней политики.

ДЕИЗМ — религиозно-философское воззрение, распространенное в эпоху Просвещения, согласно которому Бог, сотворив мир, уже не вмешивается в закономерное течение его событий. Деизм, таким образом, противостоит как *атеизму*, так и *теизму* и *пантеизму*, вместе взятым.

ДЕКАБРИЗМ — система философско-политических и художественно-эстетических взглядов декабристов (представителей революционного дворянства, организовав-

ших в декабре 1825 года вооруженное выступление против самодержавного строя).

ДЕМОНИЗМ — этическая позиция, ценностная ориентация личности, для которых характерны ярко выраженный индивидуализм и богоборческие тенденции.

ДЕСТРУКЦИЯ — нарушение, разрушение нормальной структуры какой-либо системы, ее разложение, распад.

ДОГМАТ — основное положение верования, принимаемое на веру и не подлежащее критическому пересмотру.

ДУАЛИЗМ — двойственность, раздвоенность чего-либо, принимающая форму бинарной (или двойной) оппозиции.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ — относящееся к Евангелию, то есть к слову спасения, принесенному Самим Христом. Известны четыре Евангелия, записанные соответственно четырьмя евангелистами — Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.

ИДИЛЛИЧЕСКИЙ — характеристика мирного, безмятежного существования, не признающего динамики и кризисов развития. Производно от идиллии — жанра древнегреческой поэзии, изображающего мирную жизнь простых людей среди красоты и гармонии природы.

ИНТУИЦИЯ — способность постижения истины путем непосредственного ее усмотрения без помощи логического доказательства.

ИНФОРМАЦИЯ — общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире.

ИПОСТАСЬ — категория, соотносимая с понятием сущности по признаку индивидуальное — общее; в широком смысле — частное проявление, один из «ликов» некоей сущности или духовной личности.

ИСТОРИОГРАФИЯ — история исторической науки, изучающая накопление исторических знаний, дискуссию между различными историческими концепциями, смену методологических направлений в исторической науке.

КАТАКОМБНЫЙ — относящийся к деятельности катакомбной Церкви. Производно от слова катакомбы — обширные

подземелья в Древнем Риме, служившие первым христианам убежищем от преследований и местом богослужений. По сути, вся Русская Православная Церковь на протяжении 1920-х — начала 1940-х годов находилась в катакомбном положении, вынужденная сохранять приемы конспирации.

КАТОЛИЦИЗМ — одно из трех (наряду с православием и протестантизмом) направлений в христианстве, имеющее место в романских странах (кроме Румынии) и в Ирландии; центром католицизма является Ватикан во главе с Римским епископом (Папой).

КОНСЕРВАТОР — приверженец устоявшихся форм, вековых преданий и национальных традиций. По своим политическим взглядам Пушкин, как считали кн. Вяземский и П. Струве, — «либеральный консерватор», то есть человек, сочетающий консервативные убеждения с любовью к свободе.

КОНТЕКСТ — выходящая за рамки внутренней структуры текста (или трансцендентная ей) система положений, уточняющая наши представления о смысле самого текста. Различаются духовно-биографический, историко-культурный контексты, а также контексты цикла произведений или всего творчества художника.

КОНФЕССИЯ — принадлежность человека к какому-либо вероисповеданию.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ — доверительный, не подлежащий огласке.

КОНЦЕПЦИЯ — то или иное понимание явления, система взглядов, а также основная идея художественного произведения или творчества писателя в целом.

КОШУНСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ — формы игрового, комически сниженного обращения с сакральными текстами и образами в целях идейно-эстетической полемики. Приемы пародирования в кошунственной поэзии остаются все-таки в рамках литературной игры и, как правило, не приводят к открытому богоборчеству.

КУЛЬТ — совокупность обрядов поклонения Богу, совершаемых, как правило, священнослужителями (или жрецами). К культовым действиям относятся жертвоп-

риношения, обрядовые празднества и молитвы.

ЛЕГКАЯ ПОЭЗИЯ — направление во французской поэзии XVIII века, отказавшееся от строгих правил классического искусства и культивирующее мелкие жанры — мадригалы, эпиграммы, надписи, альбомные стихи, куплеты и пр.

ЛИБЕРТИНАЖ — направление во французской поэзии XVII столетия, связанное с именами поэтов-атеистов, авторов богохульных песен, кончавших свой век, как правило, на эшафоте. К поэтам-либертинцам относятся Клод Ле Пти, Этьен Дюран, Теофиль де Вио, Сен-Аман и др.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ — наука, изучающая художественную литературу, ее сущность, специфику, происхождение, общественную функцию, закономерности историко-литературного процесса.

ЛИТУРГИЯ — церковная служба, центром которой является таинство Евхаристии. Вообще слово «литургия» означает «совместное дело, совершаемое для пользы всех». Божественная Литургия христианской Церкви есть совместное действие Бога и всех верующих в Него.

МАДРИГАЛ — краткое стихотворение интимного содержания, обращенное к женщине.

МАКРОКОСМОС — вселенная, универсум, мир в целом.

МАСОНСТВО — первоначально религиозно-этическое движение. Позднее: тайная организация, имеющая своей целью установление полного контроля над финансовой, экономической, политической структурами общества, над средствами массовой информации во всемирном масштабе.

МАТЕРИАЛИЗМ — философское направление, признающее первичность материи, природы, бытия, физического, объективного и рассматривающее сознание, дух, мышление, психическое, субъективное как свойство материи в противоположность идеализму, принимающему за исходное, первичное — сознание, дух, идею, мышление.

МЕТАФИЗИКА — философское учение о предельных, сверхчувственных принци-

пах и началах бытия. В средние века метафизика рассматривалась как высшая форма рационального познания, подчиненная сверхразумному знанию, данному в откровении.

МЕТОДОЛОГИЯ — основные принципы или система способов и приемов исследования, применяемых в какой-либо науке.

МИКРОКОСМ — человек как подобие, отражение, зеркало, символ Вселенной — макрокосмоса.

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ — система взглядов человека на мир через призму основополагающих ценностей культуры (религиозных, нравственных, эстетических).

МИФ — форма общественного сознания, характерная в основном для ранних стадий исторического развития, но периодически проявляющаяся и на современном этапе. Отличительной чертой мифа является фетишизация, или обожествление, отдельных сторон бытия, что зачастую приводит к догматическому взгляду на мифологизируемый предмет.

МОЛИТВА — форма общения верующего с Богом; по точному выражению И. Ильина, «духо-сердечная импровизация».

МОНОГРАФИЯ — научное исследование о жизни и творчестве какого-либо писателя, претендующее на всесторонний охват и полноту раскрытия интересующей проблемы.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ — совокупность эмоциональных и рациональных знаний народа о самом себе, своей истории, культуры, современном состоянии и перспективах развития своей исторической миссии.

НИГИЛИЗМ — отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры.

НЮАНС — оттенок, тонкое различие, едва заметный переход.

ОБЕТ — одна из форм религиозного подвижничества, религиозная клятва, которую верующий дает в случае исполнения просьбы, с которой он обращался к Богу, Богородице, святому.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ — относящийся к онтологии, то есть к сфере бытия как та-

кового, рассматривающий коренные, фундаментальные вопросы бытия, наиболее общие сущности. См. также *метафизика*.

ПАНТЕИСТИЧЕСКИЙ — относящийся к пантеизму, или философскому воззрению, согласно которому Бог отождествляется с природой.

ПАРАДОКС — мнение или суждение, резко расходящееся с обычным, общепринятым, противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу.

ПАРОДИЯ — сатирическое подражание какому-либо произведению или автору с целью осмеяния слабых сторон, комическое «переворачивание» оригинала, сведение его «высокого», серьезного смысла в низкий, смешной план.

ПАССАЖ — неожиданный оборот дела, фрагмент художественного или научно-критического произведения, выделяющийся резкой оригинальностью и неожиданностью.

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ — олицетворение, представление отвлеченного понятия в человеческом образе.

ПЛЕЯДА — группа выдающихся личностей, связанных в своей деятельности общими взглядами, принадлежащими к одной научной или художественной школе.

ПОДТЕКСТ — невысказанное прямо в тексте, но как бы вытекающее из отдельных замечаний, деталей и пр. отношение автора к происходящему или повествуемому в тексте.

ПОЗИТИВИЗМ — философское направление, признающее в качестве подлинного только положительное (позитивное) знание, которое получено как результат отдельных специальных наук, и отвергающее начисто все метафизические проблемы.

ПРАВОСЛАВИЕ — одно из трех направлений христианства (наряду с *католицизмом* и протестантизмом), имеющее место в славянских странах (кроме Польши и Хорватии), а также в Греции и Румынии. По праву главной страной Православия после гибели Византии в 1453 году считается Россия.

ПРИТЧА — сравнение, заимствованное из обыденной жизни и помогающее понять духовные реальности.

ПРОВИДЕНИЕ — судьба, Божий промысел. Как отмечает И.Сурат, «с 1825 года начинается движение Пушкина к историческому провиденциализму», то есть к религиозному пониманию истории как проявления воли Бога.

ПРОГНОСТИКА — область научного знания, в которой осуществляется разработка прогноза — вероятного суждения о состоянии какого-либо явления или системы в будущем.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ — относящийся к философии Просвещения, ведущее место в которой отводится человеческому разуму как средству социального прогресса. Пушкин писал о философии Просвещения: «Ничто не могло быть противоположное поэзии, как та философия которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и острая и насмешка бешеная и площадная» (7, 214). См. также *вольтерьянство*.

ПРОТЕИЗМ — особое качество духовно-психологической организации человека, состоящее в его способности к пластическому перевоплощению. Производно от слова «протей», что означает «греческое морское божество, обладающее даром превращения, умеющее принимать различные облики».

ПСАЛОМ — жанр религиозных древнееврейских песнопений, ставший молитвой христиан.

РАДИКАЛИЗМ — социально-политическое направление (теория и практика), направленное на решительное изменение существующих социальных институтов, на разрыв с существующей традицией.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ — разумный, доступный пониманию разума (рассудка), целесообразный, обоснованный логически.

РЕЛЯТИВИЗМ — методологический принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности содержания познания, в своих крайних формах приводящий к агностицизму.

РИГОРИЗМ — непреклонное соблюдение каких-либо принципов, правил нравственности и предписаний.

РОМАНТИЗМ — особый тип художественного сознания, характеризующий повышенным интересом к духовным проблемам личности и к утопической идее идеального жизнестроения.

РУСОФОБИЯ — абсолютизация негативных свойств русского национального характера и основанное на этом запугивание «русской угрозой».

САКРАЛЬНЫЙ — священный, заветный, обрядовый; в этом же значении часто употребляется и слово «сакраментальный».

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ — исторический процесс высвобождения от религиозного влияния всех сфер жизнедеятельности общества и личности, в том числе культуры и искусства.

СИМВОЛ — предмет или действие, служащие условным выражением какого-либо понятия, идеи, явления; в отличие от аллегории символ не поддается однозначной расшифровке и не может быть сведен к некоей рациональной формуле.

«**СИМВОЛ ВЕРЫ**» — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых церковь предписывает каждому христианину.

СИНТЕЗ — единство, целостность каких-либо связанных между собой предметов или явлений; обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом.

СМУТА — события конца XVI — начала XVII вв. в России; мятеж, народные волнения.

СМЫСЛ ИСТОРИИ — идеальное содержание, руководящая идея, предназначение, конечная цель исторического процесса; одно из ключевых понятий *философии истории*.

СОБОРНОСТЬ — особое качество духовной общности людей, объединенных единой верой в Бога.

СОЗЕРЦАНИЕ — процесс непосредственного восприятия, действительности, связанный с интуитивным познанием.

СТИЛИЗАЦИЯ — подражание внешним особенностям какого-либо определенного стиля; одностороннее осмысление личности путем гипертрофированного изображения (или чрезмерно преувели-

ченного выделения) какой-либо одной ее черты.

СТРАСТОТЕРПЕЦ — особо популярный в русском религиозном сознании тип духовной организации личности, безропотно сносящий страдания, более того — ищущий и алкающий страданий; этическая позиция, прямо ориентированная на мученический образ Христа.

СТРАШНЫЙ СУД — окончательный Суд над историей человечества и над всем миром, срок которого от нас сокрыт и ведом только Христу-Спасителю. С идеей Страшного суда связано православное учение о конечной судьбе человека и вселенной, о всеобщем воскресении и полном качественном преобразовании миропорядка.

ТЕКСТОЛОГИЯ — раздел филологии, изучающий произведения письменности, литературы и фольклора, в целях критической проверки, установления и организации их текстов для дальнейшего исследования и публикации.

ТЕОДИЦЕЯ — богословский термин, обозначающий «оправдание Бога»; общее обозначение религиозно-философских доктрин, стремящихся согласовать идею «благого» и «разумного» Божества с наличием мирового зла.

ТОЖДЕСТВО — отношение между объектами (предметами реальности, восприятия, мысли), рассматриваемыми как «одно и то же»; предельный случай отношения равенства.

ТРАВЕСТИРОВАНИЕ — нарочито грубое снижение какой-либо идеи, имеющее место в так называемом травести — жанре юмористической поэзии, близком к пародии.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ — характеризующий все то, что выходит за рамки конечного, эмпирического мира; предмет религиозного и метафизического познания.

ТРОП — слово или фраза в переносном значении, образное выражение.

УНИВЕРСУМ — понятие, обозначающее всю объективную реальность (всеобщее, мир, Вселенная).

ФЕНОМЕН — понятие, означающее явление, данное нам в опыте, чувственном по-

знании; необычный исключительный факт, явление.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ — раздел философии, занимающийся объяснением смысла, закономерностей, направленности исторического процесса, раскрывающий методы его познания; то же, что и историсофия.

ХРИСТИАНСТВО — одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Исповедует идею единого Бога, догматы триединства и Боговоплощения. Существует в трех основных разновидностях — *Православие*, *католицизм* и протестантизм.

ЦЕРКОВЬ — собрание всех христиан, призванных Богом. По слову апостола Павла, Церковь — это целостный организм, тело; глава его — Иисус Христос. См. также *соборность*.

ЦИКЛИЧНОСТЬ — определенный тип развития процессов и явлений (в мире как природы, так и человека), противостоящий эволюции и предполагающий движение по кругу, постоянное возвращение к исходной точке.

ЭВОЛЮЦИЯ — особая форма движения, предусматривающая непрерывную постепенность количественных изменений, в отличие от революции — коренного изменения, резкого перехода из одного качественного состояния в другое.

ЭВХАРИСТИЯ — одно из семи таинств, Святое Причастие, мистическое приобщение людей к Богу и друг к другу через Христа в Святом Духе. Так называется не только священная трапеза — хлеб и вино, но и все действие церковного обряда.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ — относящийся к экзистенции, то есть к сфере вечных проблем человеческого существования.

ЭЛЕГИЯ — жанровая форма лирики, выражающая преимущественно философские размышления автора, окрашенные эмоцией глубокой грусти и печали.

ЭМИГРАЦИЯ — вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну, вызываемое политическими, экономическими и другими причинами. Есть все основания говорить о трех волнах русской эмиграции как о зарубежной России.

ЭССЕИЗМ — стиль, характерный для жанра эссе, отличающийся повышенной образностью и авторской субъективностью, претендующий не на логическое воспроизведение фактов, а на изображение личных впечатлений, раздумий и ассоциаций.

ЭТНОГРАФИЯ — наука, изучающая культурные и бытовые особенности народов мира, проблемы происхождения, расселения и культурно-исторических взаимоотношений народов.

ОБ АВТОРАХ

КОПАЛОВ ВИТАЛИЙ ИЛЬИЧ. Окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горького, доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии ИППК при Уральском госуниверситете. Автор около 100 научных и учебно-методических публикаций, в том числе двух монографий.

Область научных интересов — социальная философия, философия истории, история русской философии. В последние годы опубликовал ряд статей по русской философии истории, в которых рассматривается творчество Ф.М.Достоевского, Н.Я.Данилевского, В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, митр. Иоанна (Снычева). Руководитель межвузовского научного семинара «Русская идея», на основе которого были подготовлены и проведены три всероссийские конференции «Судьба России». Является ответственным редактором трех сборников тезисов и четырех сборников докладов, вышедших по итогам этих конференций.

ЗЫРЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горького, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и фольклора УрГУ. Преподает курс «История русской литературы XIX века (1800—1830-е годы)». Область научных интересов — жанровые процессы русской лирики, проблемы эволюции поэтических систем, анализ духовно-религиозной проблематики творчества Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета.

КОЛОСНИЦЫН ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ. Окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горького, доцент кафедры философии и культурологии ИППК при Уральском госуниверситете, кандидат философских наук. Автор более 60 научных работ. Область научных интересов — религиоведение, культурология, филология. Диссертация — «Социально-психологические условия возникновения отчуждения в первобытном обществе». Основные направления исследований — история мировой и отечественной культуры.

КОЛОСНИЦЫНА НАТАЛЬЯ ВСЕВОЛОДОВНА. Окончила факультет искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета им. А.М.Горького, преподаватель кафедры культурологии факультета искусствоведения и культурологии Уральского госуниверситета. Область научных интересов — культурология, лингвистика. Основные направления исследований — история отечественной культуры.

ANNOTATION

This book is dedicated to the 200th anniversary from the birthday of A.S.Pushkin. It is a monograph based on the reports, made by its authors at the scientific seminar «Russian Idea» held by the Ural State University named after A.M.Gorky. The book is the first one in the new series «Philosophical Education» which opens the new branch of research – «Literature and Morality».

The monograph is an attempt to look at the creative work of the great Russian national genius from the different view-points, to be more exact, through the eyes of a philosopher, philologist and culturologist. Its aim is to give a complex evaluation of Pushkin's literature heritage, his precepts given to our contemporaries. The main idea which unites all the parts of the monograph is Pushkin's influence on the Russian national self-consciousness and culture on the whole. For example, the chapter «Russia and Russian people in Pushkin's creative work» (by V.I.Kopalov) has an analysis of historical view-points of the poet, his thoughts of the historical mission of Russia and Russian people, and of the role of the Orthodoxy in the formation of the Russian culture. In the chapter «Parched by spiritual thirst: Biography of Pushkin's spirit» (by O.V.Zyryanov) the author examines the spiritual-religious aspects of the poet's life and work. The striking characteristics of Pushkin as a personality and an inspired artist is given in the chapter «Alliance of magic sounds, feelings and thoughts» (by V.I.Kolosnitsin). As for Pushkin's interpretation of the theme of creative freedom and its role for all the Russian literature, it is traced in the chapter «Poetry and Freedom: Pushkin's tradition in the Russian poetry» (by N.V.Kolosnitsina).

Together with the Soviet and post-Soviet research data on Pushkin, the monograph widely uses the texts by Russian writers and thinkers of the 19th– early 20th centuries, philosophers of the first wave of the Russian emigration. Because of some ideological reasons, the Russian reader hadn't had access to the books by the above-mentioned authors for a long period of time. The book also includes the collection of philosophical poems by Pushkin and the vocabulary of the main terms and notions used in the book.

The monograph is addressed to various kinds of readers – teachers of the socio-humanitarian subjects at high and secondary schools, post-graduates, students, and all people, whose hearts Pushkin's heritage and his immortal poetry is near to.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Два века с Пушкиным: вместо введения	4
Глава I. Россия и русский народ в творчестве Пушкина (В.И.Копалов)	8
Глава II. «Духовной жаждою томим»: биография пушкинского духа (О.В.Зырянов)	36
Глава III. «Союз волшебных звуков, чувств и дум» (В.И.Колосницын)	62
Глава IV. Поэзия и свобода: традиция Пушкина в русской поэзии (Н.В.Колосницына)	80
Библиографические ссылки и примечания	101
Философская лирика Пушкина	105
Словарь основных терминов	129
Об авторах	135
Annotaion	136

CONTENTS

Preface	3
Two centuries with Pushkin: instead of Introduction	4
Chapter I. Russia and Russian people in Pushkin's creative work (V.I.Kopalov)	8
Chapter II. «Parched by spiritual thirst»: Biography of Pushkin's spirit (O.V.Zyryanov)	36
Chapter III. «Alliance of magic sounds, feelings and thoughts» (V.I.Kolosnitsin)	62
Chapter IV. Poetry and Freedom: Pushkin's tradition in the Russian poetry (N.V.Kolosnitsina)	80
Bibliographic references and comments	101
Philosophical lyric poetry by A.S.Pushkin	105
Vocabulary of the main terms	129
Information about authors	135
Annotation	136

Научное издание

СЕРИЯ
«ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Выпуск 8

ЗАВЕТЫ ПУШКИНА

Общ. ред. д-ра филос. наук В.И.Копалова

Корректор *Н.А.Зайцева*
Компьютерная верстка *С.И.Недви́ги*
Печать *И.В.Зыкина*

Изд. лиц. № 071278 от 25 марта 1996 г.
Подписано в печать 25.03.99. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$.
Бумага для ксерокопирования Краснокамской бум. ф-ки.
Гарнитура «Times New Roman Cyr». Печать на ризографе.
Усл. печ. л. 8,14. Уч.-изд. л. 7,48. Тираж 500 экз.
Банк культурной информации. 620026, Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 56.
Тел./факс: +7 /3432/ 22–15–46.

В БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКАХ СЕРИИ
«ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:

И.В. ЧЕРДАНЦЕВА
**ИРОНИЯ: ОТ ПОНЯТИЯ К МЕТОДУ
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ**

В книге определены основополагающие черты категории иронии, характерные для разных этапов ее развития, и проведен сравнительный анализ понятия романтической иронии с понятием юмора и остроумия. Анализируются возможности иронии как метода постижения бытия.

Книга адресована преподавателям философии, аспирантам, студентам гуманитарных вузов, а также всем читателям, интересующимся проблемами теории познания и философии культуры.